



13

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

13

ПАРИЖ

1985

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

The League of Supporters: Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Ю. Меклер,
М. Окутюрье, В. Турчин, Е. Эткинд

Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции

© SYNTAXIS 1985

Адрес редакции :

8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

Славомир Мрожек

СТРАШНЫЙ СУД

Я умер и отправился на тот свет. Врата того света украшал красный флаг.

— Почему не голубой? — спросил я у привратника.

— А вы давно умерли?

— Да нет, только что, минуты две назад.

Привратник кивнул головой, словно ожидал именно такого ответа. Самодовольный, как знаток, правильно определивший предмет.

— Происхождение?

— Я с Земли. Это, знаете ли, такая планета.

Он смотрел на меня задумчиво, как эксперт, который, выяснив природу образчика, задумывается над методом его обработки. Было в нем что-то невероятно профессиональное, хотя я никак не мог определить, какая это профессия. Но уж наверняка не просто привратник. И одновременно я не мог отделаться от ощущения, что эта профессия мне вроде бы знакома.

— Ну, что ж, — сказал он. — Не будем раздувать историю, хотя такие шутки могут привести к неприятностям. Так сказать, непочтительное отношение к власти. Но на первый раз прощается. Происхождение?

— Я уже сказал.

Он ударил кулаком по столу.

— Из рабочих, крестьян или интеллигентов? А, может, из помещиков, а?

— Из помещиков? Нет, что вы, — опроверг я его торопливо, — видимо, сказался давнишний рефлекс.

— Попрошу заполнить! — и подсунил мне анкету с множеством вопросов, напечатанную на хорошо мне знакомой серой бумаге плохого качества.

— Я только хотел сказать... Я думал, вы тут уже все знаете. Стало быть, не нужно.

Он поднял глаза к небу, если можно так выразиться, поскольку мы уже были на небе, с ангельской, но грозной и нарочитой терпеливостью.

— Конечно, знаем. Ну и что с того? Знаем — это одно, а что нужно, то нужно.

— Яко на земле, так и на небе?

— Вот именно.

И подал мне ручку на цепочке (чтобы клиенты не украли? Здесь, на небе?!) тоже вроде бы знакомую. К кончику пера присохли моши мученицы-мухи.

— Только разборчиво. И ничего не пропускать.

Как же это, Святой Петр, ведь тут же небо, а не земля, хотел было я сказать, но взглянул на его бритый подбородок и передумал. Святой Петр, насколько мне помнилось, был с окладистой бородой. Может, вышел на минутку, а этот — всего лишь помощник, который в его отсутствие злоупотребляет властью? Видно, и на небе это случается. Но не стоит цепляться к мелочам, тем более, что все остальное вроде бы в порядке. На стене сторожки висел большой портрет Бога-Отца с подобающей длинной бородой.

Получив пропуск, я зашагал по райским лугам. Я с любопытством рассматривал местность, выискивая ангелов и спасенные души. Вскоре я на них наткнулся, но они выглядели как-то странно, то есть несколько иначе, нежели я ожидал. Не сидели каждый на своем облачке, а шли куда-то стройной колонной с духовым оркестром во главе.

Оркестр, конечно, дело понятное: на разных картинах, которые мне приходилось видеть, пока я был жив, ангелы играли на трубах, но опять же и на арфах, а здесь были исключительно трубы. Еще сильнее меня удивили крылья, коротко подрезанные у плеч. Как бы и не крылья, а обрубки. Я пристроился к последней четверке. В конце шествия, как и в любом другом шествии, плелись наименее рослые и наименее молодева-

тые образчики. Небольшого роста и нерасторопные. Никто со мной не заговаривал, поэтому спустя некоторое время я сам вынужден был начать разговор.

— Аллилуйя, — сказал я одному, который плелся в самом что ни на есть конце и казался самым вялым. Я предполагал, что здесь здороваются именно так.

— Аллилуйя, — ответил он, но без особого энтузиазма, как-то формально.

— Ну как, спасаемся? — продолжал я, не обращая внимания на его сдержанность. — Все идет своим чередом?

— Своим чередом, — ответил он, окинув меня недолгим испытующим взглядом.

— А эта демонстрация — куда она идет?

Он поглядел на меня долго и внимательно, но ничего не ответил.

— Извините, что спрашиваю, но я только что с земли, не успел еще разобраться.

— С земли? — повторил он все еще сдержанно.

— Только что, а у ворот я ничего не понял. Этот Святой будто и не Святой Петр, с ним бесполезно разговаривать.

— Святой Петр?

— Он, или его заместитель, точно не знаю, а спрашивать не посмел: видите ли, он вел себя несколько высокомерно.

Рохля помолчал минуту.

— А как знать, вы действительно с земли, а может и нет, — сказал он наконец.

— Посмотрите на мои плечи. У меня еще нет крыльев, я их получу только после суда, разумеется, если меня примут.

— Это точно, — поддакнул он, и лицо его прояснилось. — Прошу прощения за резкость, но скоро вы сами все поймете.

— А странные у вас все-таки крылья; не крылья, а какие-то культияпки. Почему они такие короткие?

— Пойдемте медленнее, — предложил он. Мы замедлили шаг, так что между нами и хвостом демонстрации образовалось некоторое расстояние.

— Очень просто, — объяснил он, когда последние ангелы уже не могли нас услышать. — Для чего служат крылья?

— То есть как для чего? Чтобы летать, конечно.

— А если летать, то можно куда-нибудь и полететь, не так ли?

- Само собой разумеется.
- А если полететь, то и улететь?..
- Что вы имеете в виду?
- А так, улететь и...
- Кажется, я начал что-то понимать.
- Вы хотите сказать, что нарочно дают такие короткие крылья... чтобы нельзя было...
- Вместо ответа он замахал култыпками, но не поднялся даже на сантиметр.
- Но это же бред! Кто станет убегать из Рая?
- Смотря из какого рая. Здесь многое изменилось с тех пор, как вы учили Закон Божий.
- Правда, я изучал катехизис уже очень-очень давно. Еще до войны.
- Вот именно. А тем временем История шагнула вперед. Согласно неумолимым законам.
- Вы не могли бы объяснить подробнее?
- Что вам объясняли, например, о грехе?
- Ничего особенного. Не убий, не укради... Все десять заповедей.
- Уже неактуально.
- То есть как неактуально? Уже можно красть и убивать?
- И да, и нет. И вообще не в этом дело. Сейчас другие критерии. Грехом является все, что тормозит общественный прогресс, а добродетелью все, что ему способствует. Если вам охота красть, крадите себе на здоровье, лишь бы это было во имя прогресса. То же самое с убийством. Вас будут судить только по этому закону.
- Постойте, постойте, я что-то не понял. Значит, Рай... Рай теперь тоже стал прогрессивным?
- Более того. Теперь Рай окончательно воплощает сами знаете что. Согласно неизбежному закону... Вы, наверное, учили это после войны.
- Господи Иисусе! – ахнул я.
- Какой уж там Иисус. Советую с этим быть поосторожнее.
- И, стало быть, тот Святой Петр...
- Какой уж там Святой Петр! Давно ликвидирован.
- Но ведь... руководство осталось прежним. Я сам видел портрет.

— Этот, с бородой, что ли? А вы не припоминаете другой портрет, тоже с бородой, несколько похожий...

Меня осенило.

— Карл?! — вскрикнул я.

Он кивнул головой. Слова уже были ни к чему.

Я почувствовал, что проваливаюсь сквозь небо, захотелось повернуться и дать деру, но я вспомнил, что ворота под охраной. А он обнял меня за плечи.

— Что поделаешь, брат, — сказал он едва слышно. — Неизбежный закон Истории.

— А куда мы сейчас идем?.. — пробормотал я.

— На митинг.

— На какой митинг?..

— Будут судить одного, а мы будем гласом народа. "Да здравствует", "Долой", сам знаешь.

— Знаю, прошептал я, глядя на небо, то есть вниз. Если бы мы были на земле, я бы сказал "глядя в землю".

— Постой, а не тебя ли часом судить будут? Ведь тебя же еще не судили, ты только идешь на суд.

— И то верно! Меня.

Он тотчас же отошел в сторону.

— Не сердись, но встретимся только после процесса, — сказал он быстро. — Сам понимаешь.

— Думаешь, меня могут осудить?

— Ну, ты же не Феликс, а они не шутят. При старом режиме еще было отпущение грехов, а теперь ничего, только эти самые законы. Неумолимые.

И он примкнул к своим товарищам ангелам. Он не только перестал со мной разговаривать, но и вовсе сделал вид, что меня не замечает.

Я плелся за ними, опустив голову. "Неумолимые законы...", "Они не шутят", — гудело у меня в мозгу. Так вот оно какое теперь небо. Такая неправдоподобная, такая ошеломляющая перемена. Кто бы мог предположить, кто бы мог предвидеть?

Однако, если вдуматься, перемена в общем-то не так уж удивительна. Мало я, что ли, прожил на земле во второй половине двадцатого века? Мало, что ли, читал газет на разных языках, ученых и литературных трактатов? Разве я не слушал радио и разговоры в салонах, разве мало видел телевизионных

передач? Ведь мог же понять что к чему. Мог же разобраться, что и как они говорят, пишут и показывают? Да и понимал. Наблюдал, как возникали новые ценности, как менялось понимание Добра и Зла, как исчезала старая и появлялась новая религия. Ну и что из этого?

А то, что не разум меня подвел, а вера. Я попросту не верил, что это всерьез и до такой степени. Мой личный опыт не позволял мне уверовать, что и они тоже, и при этом добровольно... И вот я здесь, совершенно не готовый к суду, от которого зависит мое вечное спасение или проклятие на веки веков.

Ибо если есть спасение, то должно быть и проклятие. И к тому же...

Но вот мы уже пришли на Страшный Суд. Огромная долина, а над ней гора, все покрыто красным сукном, как в президиуме. Процессия остановилась внизу, а на горе от подножия и вверх уже восседали патриархи и отцы новой церкви, блаженные, пророки и святые, согласно степеням и рангам, вплоть до Святой Троицы на самом пике. Всевышний с упомянутой уже громадной бородой был на самом верху. Он сидел на троне, а в руке держал Писание, все тома от первого до последнего. Из-за его спины выглядывал почетный Заместитель, тоже с бородой, только подстриженной и не столь кудрявой. По левую руку от Всевышнего сидел Лысый, у которого бородка была и вовсе подстрижена клинышком, а по правую руку тот самый, с усами. А ниже... Ах, кого там только не было.

И оказался я один-одинешенек у подножия этой огромной горы, а за мною сонмы спасенных.

Архангел вострубил (то ли Суслов, то ли Буденный, не разберешь), и суд начался.

Прежде всего секретарь суда зачитал мое дело. Я его узнал. При жизни он не был крупным Секретарем, то есть в мире был менее известен, нежели другие Первые Секретари, зато у нас его знал каждый. Короче говоря, тот с крошечными усиками щеточкой, зачесанными наверх. Многие мои земляки еще его помнят, и ему, наверно, потому поручили мое дело, что когда-то я был в его ведении. Вся моя земная жизнь была описана в досье. Выглядела она скверно. Правда, в молодости я состоял в разных богоугодных организациях, но член из меня был никудышный, чистейшей воды фарисей. А дальше... Чем дальше, тем хуже.

— Многие множество грехов у подсудимого на совести, — начал Председатель, но был вынужден прервать свою речь: ему мешала чья-то болтовня. — Попрошу не разговаривать в зале, — сделал он замечание невысокого роста толстяку в очках, с пробормом, который в сонме Блаженных чему-то поучал своих соседей, хоть и шепотом, но страстно. — Многие множество тяжких грехов, превеликие вины пред богом.

— Долой! — взревела толпа в долине.

— Но Страшный Суд желает рассмотреть его дело до конца, дабы не лишить его возможности спасения.

— Да здравствует! — заорала толпа.

— Да подойдет подсудимый и да ответит на вопросы. Все будет зависеть от его ответов.

Я сделал несколько шагов и остановился у самого подножия горы. Пришлось изрядно задрать голову, чтобы увидеть вершину.

— Прошу не нарушать порядок, — обратился Председатель снова к тому, который не переставая болтал. — *S'il vous plaît*.

— Ага, — подумал я, — это, наверно, француз.

— Первый вопрос. Как подсудимый относится к феодальному гнету?

— Очень люблю.

Шорох ужаса пробежал по горе и долине. Я слегка покривил душой, феодалы мне вполне безразличны, но лучше уж престараться для пущей верности. Я ни в коем случае не мог рисковать, что окажусь в числе спасенных. Только француз говорил что-то не переставая, ни на что не обращая внимания.

— Товарищ Сартр, прошу покинуть помещение. Так значит, подсудимый — сторонник класса имущих? Может быть в связи с этим подсудимый нам скажет, что он думает о противоречии между общественным способом производства и частной собственностью на средства производства?

Пришлось переждать небольшое замешательство, пока выносили Сартра, который сам выйти не желал. Несли его Дзержинский с Торезом, а он болтал, да и только. Когда его вынесли, наступило спокойствие, и в тишине раздалась мои слова:

— Мне все равно. Были бы деньги.

И гора и долина ахнули. Сам Председатель словно окаменел. Однако пришел в себя и минуту спустя процедил сквозь стиснутые зубы:

— Чем дальше, тем лучше. Значит, обвиняемый поддерживает эксплуатацию?

— Смотря какую.

— То есть как?

— В зависимости от степени эксплуатации. Если сильная, то поддерживаю, а если слабая, тоже поддерживаю, но меньше.

На этот раз даже стоны не слышались. Бывает такой уровень ужаса, что выражается только молчанием.

— Перейдем к обсуждению народно-освободительных движений. Каковы взгляды обвиняемого по этому вопросу?

— Вы имеете в виду Польшу?

Тишина взорвалась и вопль святого негодования наполнил небеса. "Долой! Долой! Это провокация!" — орали в долине, а гора тоже вопила голосами всех Архангелов, Пророков, Патриархов и Святых. И казалось, что этому не будет конца, но Всевышний поднял шуйцу. По этому знаку снова воцарилась благодать. Всевышний наклонился и шепнул что-то на ухо Председателю.

— Последний вопрос, — провозгласил Председатель. — Сам Исторический Детерминизм желает дать подсудимому еще один шанс. От этого последнего ответа будет зависеть его спасение. Так что пусть подсудимый хорошенько подумает, прежде чем отвечать: как он относится к...

И тут он произнес наисвятейшее слово, святое из святых, столь святое, что я не могу его здесь привести — в этом мирском и недостойном рассказе. Могу лишь упомянуть, да и то с трепетом, что начинается оно на букву "С".

И снова наступила тишина, но на сей раз совершенно мертвая, космическая. Такая, что слышно движение планет, пульсирование солнц и вечное расширение галактик. И я в этой тишине сказал:

— А пошел он в жопу.

Грянул гром, разверзлась пропасть и поглотила нечестивца. В огне и дыме промелькнул кто-то толстый, сигара в одной руке, вилы в другой — Черчилль? — кто-то хихикал, вероятно, Гарри Трумэн, и размахивал черным хвостом; меня обжигала смола Уолл-стрита и душила сера Пентагона. Неужто во веки веков аминь? — едва успел я подумать и, все еще не веря, что мне удалось избежать Спасения, рухнул в пекло Капитализма.

Перевод с польского А. Израилевич.



В СЕКРЕТАРИАТ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

**От члена союза
Ю. О. ДОМБРОВСКОГО
ч./б. 0275.**

Докладная записка

Начну с самого конца: 10 мая меня вновь повесткой вызвали в тот нарсуд на улице Чехова, где за месяц до этого я получил десять суток ареста за мелкое хулиганство. Перед тем как пойти туда, я зашел в Союз и попросил, чтобы мне дали юрисконсульта. Юрисконсульта мне дали, она со мной была, была в суде, была во время разговора с нарсудьей Кочетовой, была, когда я, наконец-то, первый раз! (тогда перед судом и осуждением мне эту возможность не дали) знакомился со своим делом.

Разговор с нарсудьей Кочетовой оказался очень странным. Судья Кочетова (читая больничную справку о моем со-

стоянии). И вы, такой больной человек, полезли в эту историю. Как же вы могли?

Я. Гражданин народный судья, все это я заработал у вас и из-за вас. Все четыре болезни. А насчет дела разрешите мне, в конце-концов, разъяснить — что же было...

Кочетова (перебивает). Я ничего не могу слушать. Решение уже вынесено.

Я. А если решение это неправильное, неправомерное, не отвечающее существу дела, если оно какое хотите, но только не справедливое, тогда что?.. Я спас женщину от ножа! Ее резали, ей рвали рот, понимаете вы это?!

Кочетова. Решение уже вынесено.

Я. У нее был разорван рот, понимаете? Пальцем! Я видел как это делается и на Колыме и в Тайшете в карцерах. А на губе у нее был прорез — полоснули ножом.

Кочетова. Приговор вынесен.

Я. Комната была залита кровью, и в крови валялся финский нож.

Кочетова. (радно — наконец-то она поймала меня на противоречии). То вы говорили, что брали ее в домработницы, то, что...

Я. А разве одно другому мешает? Если женщину один берет в домработницы, то другой может ее резать? Я заявил об этом милиционеру, я сказал — пойдите вниз, там засела шайка картежников, там вся комната в крови, там...

Кочетова (кончает разговор). Приговор уже вынесен. Я ничего сейчас не могу сделать. (Я жму плечами, что говорить дальше?) Но так как вы больны, то я заменю арест штрафом. Это единственное, что в моих возможностях. Вы согласны?

После этого мы знакомимся с делом. Моему адвокату его дают на просмотр. Сидим рядом и читаем. Оно уже пухлое, законченное, обросшее постановлениями, запросами, ответами, аккуратно подшитое. Начинаем читать с конца, с того, что мы в некий период именовали "доносом", о нем мне еще придется много говорить. Аккуратнейший чертежный почерк, буква к буквке. Писал ответственный съемщик. Внизу тем же полупечатным почерком выведены фамилии жильцов. Он — она, он — она, он — она; пропуск: вот здесь надо расписываться. О, как я знаю эти старательно выведенные, стандартные буквы, этот стиль — патристический, велеречивый, подлый и неграмотный: сколько я видел таких бумаг в своих делах, в делах моих товарищей, откуда-то выплывших в период реабилитации. Творчество этого человека я знаю особенно хорошо. Еще бы! Это его четвертый донос, который я читаю. И в тех были те же тщатель-

но вырисованные фамилии с местом для росчерка, те же туманные, но очень страшные формулы. "Разлагает...", "Нарушает моральный кодекс..." "Антиморально...", "Антиобщественно".

Все это я, повторяю, читаю уже четвертый раз.

Первый раз, когда он писал про первого мужа жилицы справа.

Второй — когда он писал о муже жилицы слева.

Третий раз, когда просили дать возможность сыну жилицы справа после отбытия наказания прописаться по прежнему местожительству. Это было доброе дело. Но есть люди, которые как бы им этого ни хотелось, добра сделать не могут. Не дано оно им. Мне кажется, что и автор всех этих трех бумаг такой же. Общий смысл того заявления был такой: мы, жильцы квартиры 30 просим помиловать Юрия Касаткина; отец Юрия пьяница и распутник, он бросил жену, заведовал столовой и пьянствовал сутками. На нем уже висит несколько партийных взысканий (на Касаткине ничего не висит, он партиец почти с сорокалетним стажем). Так что же ждать хорошего от сына подобного разложения? Яблочко от яблони ведь недалеко падает. Помилуйте сына!

Но этот потешный документ был хотя бы лишен того, чем два предыдущих и третий (заявление на меня) оканчивались — "ПРОСИМ ИЗОЛИРОВАТЬ".

В этом слове "ИЗОЛИРОВАТЬ" и был смысл всех трех документов. Еще тогда, на заре наших отношений, читая первый из них, я подумал: да сколько же подобных просьб было написано и подано этой рукой в предыдущие годы: года 37-й и 39-й? года 40-й и 53-й? И какая часть из них была уважена — 25 процентов, пятьдесят, сто? Конечно, тогда действовали в одиночку, в темноте, на соседа не собирались подписи, не выводились чертежным почерком фамилии, не оставлялись места для росчерка. Но и те три документа не состоялись просто потому, что тот первый, к которому "автор" обратился за подписью, достаточно ясно высказал ему это.

Но все это, так сказать, заметки на полях, вопрос, на который не может быть ответа. Он просто невольно приходит в голову, когда читаешь вот такую бумагу. И конечно, она была заготовлена впрок давно. Но дана на подпись жильцам только после моего ареста: он — она, он — она.

Таковы первые документы, которые мы просматриваем. Второй документ — мое объяснение; третий документ — тоже мои объяснения. О них я буду говорить дальше; затем заявление двух соседок; краткий, но исчерпывающий смысл его таков:

"Домбровский в нетрезвом состоянии привел к себе в

комнату неизвестную нетрезвую женщину. Он хотел ее оставить одну в комнате и уйти. Когда мы стали протестовать, он обругал нас нецензурно, сказал, что он писатель, и что ему все дозволено. Поэтому мы просим...”

Последнее постановление милиции на форменном, так сказать, фирменном бланке. Это бланк о применении закона от 19 декабря 1956 года.

Заключение: ”Доставить дело в суд вместе с личностью Домбровского”. Зам. нач. отд. И, наконец, бланк и в нем ”10 суток”.

Адвокат закрывает дело.

”Писать, конечно, можно, — говорит она, но по-моему, Юрий Осипович, у вас вряд ли что выйдет”.

Что ж, может быть, и верно: вряд ли что выйдет. Но писать я обязан.

Женщину, которую я привел к себе в комнату, жильцы нашего дома знают уже лет двадцать. Едва я лет восемь тому назад приехал в этот дом и поселился в этой квартире (откуда, чуть не буквально сбежал мой предшественник — поэт Сидоренко), так мне рассказали: в нашем подвале притон, там живет преступная женщина. Она вечно пьяна. У нее двое детей. Было четверо, но двоих из них она не то подбросила, не то придушила. В общем, пропали дети. В подвале пьют, скандалят, убивают. На пожарной лестнице недавно повесился какой-то мужчина. Ее рук дело! И не повесился он, а его повесили. В общем — не баба, а черт. Так мне рассказали соседи. В своей жизни чертей я видел уже предостаточно: мест ”где вечно пляшут и поют” — тоже. Поэтому даже интереса эта ”соблазнительница” и ее притон у меня не вызвали. Познакомился я с ней лет через пять и совершенно случайно: около нашего парадного постоянно играли две девочки и каждый раз, проходя, я давал им гривенник, то конфетку, то печенье, то иллюстрированный журнал, то детскую книгу с картинками. Ведь они с такой радостью бежали мне навстречу и кричали: здравствуйте, дядя Юра! Конечно не всем детям можно что-то давать на улице, не каждой бы матери, верно, это понравилось бы. Но этим детям нужно было все: и печенье, и гривенник, и книжка Пушкина, и даже просто ласковое слово, когда у меня не было с собой ничего. Я понял это сразу. Сколько лет было этим девочкам? Ну, наверное, пять одной и четыре другой. Когда им исполнилось десять, я как-то узнал (мы почему-то никогда с ними о жизни не разговаривали), что они и есть дети той страшной женщины, которой боятся жильцы и избегают ”порядочные”. Узнал я и ее фамилию — Валентина Арутюнян. А потом она меня вдруг сама остановила на улице.

Я увидел немолодую, низенькую женщину, хромую, плохо одетую, истощенную и бледную (помните "Прачек" Архипова? Ту фигуру на переднем плане?), которой иногда даже и по улице пройти трудно, так она хромает. Это было так разительно, что я уже заинтересовался по-настоящему, и отсюда началось мое грехопадение: я спустился в подвал к неприкасаемым.

То был поистине страшный подвал. Страшный не своей нищетой и ветхостью, а каменным холодом. Все текло и сочилось. Не было даже отопления. Как можно жить зимой здесь — я так не понимаю и до сих пор. Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать эту женщину, но все страшное оказалось ложью — и убитые дети, и повешенный, и пьянки, и гулянки, и разбой, и даже, как ни странно, — притон. Пьют здесь не больше, чем везде в подвалах, то есть все-таки порядочно. Заходят сюда тоже многие, либо товарищи ее сожителя (или мужа, как хотите, я что-то вконец запутался в этих различиях), либо подруги самой Валентины Арутюнян (подруг у нее достаточно) — либо друзья и подруги ее соседа. Когда-то Арутюнян жила в хорошей благоустроенной квартире, у нее был отец, работник ответственный и даже страшный (так называемые "старые чекисты" наверное помнят и сейчас Никанорова Ивана Николаевича), была хорошая обстановка и хорошая жизнь. Одна вещь в этой низенькой, постоянно темной комнате (срезали даже электричество!) напоминает мне об этой поре: это то ли шкаф, то ли сервант — старинный дубовый, дорогой, с двумя медалями на обеих створках (по-моему, Франциск II и Мария Стюарт). По словам Арутюнян (и это подтвердила старуха, которой лет 80 и которая присутствовала при ее рождении), они въехали в квартиру Дзержинского, и отец хорошо знал Сулова. "Я постоянно сидела у него на коленях". Так это или не так — опять не знаю. Но твердо я усвоил одно: вот была благополучная счастливая жизнь самой обыкновенной девушки, не особенно хорошей и не особенно плохой, а потом посыпались несчастья за несчастьем — смерть отца, война, смерть мужа, лагерь, первый ребенок (выпустили, но мать не захотела прописать ее в своей квартире после отбытия наказания) и затем вот этот подвал и мужья... первый, второй, третий.

Я не судья, не следователь, не милицейский работник, не социолог, а в данном случае я даже не писатель. Я только жилец третьего этажа, который однажды счел себя вправе спуститься в подвал. Все это и было оскорблением квартиры № 30. Несмываемым!

Квартира в подвале имеет две комнаты: одна комната была на замке. Потом мне как-то раз удалось заглянуть туда. Уве-

ряю вас, в то время это была еще настоящая квартира среднего служащего — стоял шифоньер, был дешевенький фарфор, тахта, ковер, еще что-то такое. Так вот, когда я зашел впервые, эта комната была замкнута, в нее Арутюньян не пускали. В ней числился какой-то директор магазина. Но легально (днем то есть) он спускался сюда раза два в год. А потом вдруг замок исчез, и комната опустела. Владелец сбежал, фарфор исчез, ковер содрали — пришла жена и все унесла. Но бежать-то директор сбежал, а друзья его (ночные) остались. У таких людей друзей сколько угодно — друзей на выпивку, на девочек, на преферанс, на развеселую ночьку — всего этого я не застал, и никогда не видел. Но вот с друзьями этого исчезнувшего жильца мне вдруг пришлось столкнуться и очень больно. Вот как это вышло:

Из Пятигорска ко мне приехал мой знакомый, мы были с ним у Арутюньян — для разговора, к сожалению, с некоторых пор моя квартира малоудобна — (но об этом после). На второй день нашей встречи мы шли по улице и меня позвали девочки: "дядя Юра, вас мама зовет". О том, что мы увидели, следовало бы, по всей вероятности, писать словами милицейского протокола. Мой слог с этим не справится.

Комната оказалась залитой кровью. На кровати лежала женщина, зажимая лицо платком, платок был в крови. Лицо женщины было разбито. При входе нашем в комнату она вскочила с кровати и истерически крикнула: "В той комнате играют в карты — меня убивают, спрячь меня, пожалуйста." Так я написал бы, если бы был милиционером. А теперь вот от себя.

Я увел женщину к себе в квартиру. По дороге она мне объяснила, что ее избилли друзья бывшего жильца. Сказала, что жилец где-то скрывается, а друзья его ходят и требуют комнату на ночь, стол, чтобы резаться в карты, постель для девочек, а главное, чтобы не было посторонних — и детей вон, вон, вон! — так она мне рассказала.

Вероятно, Арутюньян выполняла эти требования очень долго. Но вот в этот день она почему-то отказалась. Опять-таки, почему — не знаю. И благородных мотивов у ней предполагать я не в праве. Но разбушевавшаяся кодла (выражаясь полагерному, но иначе и не скажешь) решила ее проучить по тому же самому тюремному шакальему кодексу. "Ах, непустишь, стерва". Били ногами на кровати, свалили на пол и били там, саданули стамеской, резанули ножом. В общем, когда я и товарищ привели Арутюньян ко мне, кровь капала с нее, как из треснутой банки вишневого варенья. Сознаюсь, в первую минуту я просто растерялся, мы стояли с товарищем и смотрели, как женщина лежит на диване и хлюпает, а кровь у нее пузырится

из носа. Потом я сказал товарищу: "Ну, вот что! Ты побудь с ней, а я сбегая за угол за скобками в аптеку" (что-что, а сшивать такие раны я умею — Колыма научила). Но когда я отворил дверь в коридор, то увидел перед своей комнатой мяукающую и орущую массу женщин. Собрались все, кто был: портниха, жена шофера, дочка жены шофера. Я привел в их квартиру женщину из подвала! Неприкасаемую! Зачем? Как я смел?

— Но ее же убьют, — сказал я.

— Ну и пусть убивают, — ответили мне, — туда ей и дорога.

— Но я так не думаю, — сказал я.

— Ах, не думаешь, — завизжала женщина. — И тогда пришла милиция.

Я ко многому привык и многое узнал за восемь лет, живя здесь. Я узнал, что такое коммунальная квартира, я отлично теперь знаю, что значит, в понимании моих соседей, — "мой дом — моя крепость". Стоит только посмотреть на запоры этой крепости, ее крючки, крюки, замки, перевернутые так и эдак, запертые просто и поставленные на ребро так, чтобы нельзя было открыть после 10-ти часов ни одним ключом (воров такие замки не останоят). Привык я и к крикам о том, что в квартиру (ко мне, то-есть) приходят неизвестные, а кто их знает, что за люди, — что у меня кроме книг и картин воровать нечего (какому дураку нужны книги и картины, да еще старые?) А у них и новые платья, и горка хрусталя, и три чайных сервиза, и два сервиза обеденных. Так что реакция квартиры, вопли ее у дверей (а иначе, чем воплями их и не назовешь) и даже самый приход милиции меня не удивил. Раз нажато "02", издан вопль: СОС! — милиция обязана садиться и мчаться.

Удивило и потрясло меня совершенно другое. Когда пришли милиционеры и увидели в комнате двух совершенно трезвых растерянных мужчин и хлюпающую, как говорят, кровью умывшуюся женщину, то они не заинтересовались ни избитой и порезанной, ни тем, кто ее резал, бил и истязал, ни заявлением ее о том, что в подвале режутся в карты и на полу валяется финский нож, а совсем другим: жилец привел неизвестную, а сам собирается куда-то уходить. Объяснить я ничего не мог — не слушали.

Разговор милиция начала в таком тоне:

— Что? Бьют? Да тебя давно убить надо.

— Убивают? Ну что ж? Похороним!

— В карты играют? Ладно, ладно, сама приважила, а теперь плачешь.

— Финский нож? Да на тебя и топора мало.

В таком тоне и велся весь разговор. Тон благодушных

подвыпивших парней ”заводящих” пьяного; разговор санитаря с сумасшедшим о его миллионах. Ох, эта непробиваемая броня служителей порядка. Эта смешливость, которая вдруг нападает на работников милиции, когда их просят о помощи. Сколько я ее видел и слышал! Сунуться опасно, говорить не о чем, вот и начинают смеяться. А потом еще эпатация: обалдельный обыватель отваливается сразу. Он уже ничего понять не может. Напишу только о последнем случае из ряда очень-очень многих, которые мне пришлось наблюдать.

Раз на нас — а нас было четверо, из них две женщины — бросились двое развеселых парней с гитарой и ножами. Это было не на окраине, а напротив Бразильского посольства, то есть у самых дверей Дома литераторов. Было, повторяю, нас четверо — жена поэта Наровчатова, редактор и парторг Гослитиздата, художник-декоратор и я. Я с Галиной Наровчатовой шел впереди, поэтому, как и из чего возникло столкновение, я так и не знаю — то ли пьяный толкнул кого-нибудь из нас, а тот огрызнулся, то ли вид был у женщин не тот (шляпки, блузки), то ли фамилия у редактора — Коган, в общем, повторяю, я этого так и не узнал. Но просто-напросто один из парней взял Когана за грудку да и тряхнул его об решетку. Когда я бросился на помощь, оба парня с радостью переключились на меня. Тут был весь уголовный антураж, не воров, а тех, кого в лагере зовут ”Свясками” — руки в карман, кулак к носу и двое вооруженных против двоих безоружных. Женщин попросту отбросили. Я справился со всеми один — и с матом, и с ножом, и с пальцами, рогаткой в глаза — ”Ты что, падло, в лоб захотел?” и еще кое с чем. В течение трех минут мы стояли друг перед другом, матерились и орали на весь квартал. Но в эти три минуты — великое время для жизни и смерти человека! — Галина Наровчатова успела добежать до милиционера. И угадайте, что ей сказал милиционер: ”Знаешь что... Сама с ними пила, а теперь их сдать хочешь! А ну, иди отсюда!” За точность слов, конечно, поручиться не могу, но смысл передаю совершенно точно. А я ведь знаю, что для того, чтобы превратить человека в черепаху достаточно десяти секунд, чтоб зарезать и пырнуть под сердце или в горло — и трех секунд, пожалуй, много, а чтобы добежать и оказать помощь — и минуты хватит. А у милиционера три минуты ушло на то, чтоб поглумиться над испуганной и совершенно трезвой женщиной. Просто он ржанул, повернулся и пошел в сторону, противоположную опасности.

Я подал в секретариат эту докладную, когда прочел в ”Литературной России” что-то совершенно подобное. ”Вбегает к ответственному секретарю газеты сотрудник: ”Любопытное про-

исшествие! Интереснейший факт! Понимаешь, один участковый милиционер шел вместе с дружинниками по улице. Вдруг шум скандала. Дружинники ринулись на шум, а милиционер рванул ... в противоположную сторону". Да ну — говорит — из-за пустяков мне еще нервы бередить. За этим случаем наши коллеги просмотрели целую систему ошибок местной, да и не только местной милиции". (№ 29 от 15 июля 1966 г.) Это точно, что просмотрели! Ох, как они все просмотрели!

Так было и в этом случае. Передаю опять почти протокольно.

Я. Убивают же!

Старший уполномоченный. Ну и пусть — плакать не будем, у нас с ней столько хлопот.

Женщины (визгливо). Он ее все время таскает в нашу квартиру. То супом накормит, то детей ее притащит конфетами оделять, а сколько вещей он ей передавал. Режут, да все не зарежут, небось свой законный муж режет, это дело семейное.

Другой милиционер. У ней столько мужей, так если за каждым бегать...

Общий вопль. И пусть убивают, и пусть убивают.

Оперуполномоченный (нравоучительно). А вы вот скандалите, а еще писатель.

Я. Товарищ начальник, да вы что слушаете этих шкур, да разберитесь, что здесь происходит. Это же шкуры, понимаете, шкуры.

Старший. Стоп! Это почему вы так выражаетесь?

Я. Потому что кроме своей шкуры их ничего не интересует — режут, пусть зарежут, убивают — пусть добьют. А подвал и третий этаж не встречаются.

Старший (обращаясь к жилище). Он вас назвал шкурой, мы это слышали. Пишите заявление! Вот я вам скажу с чего надо начать: "Проживающий в нашей квартире гр. Домбровский, в нетрезвом виде..."

Я. Это я-то нетрезвый?

Старший. Молчи, пока не спросят. — "... нетрезвом виде привел неизвестную..."

Я. Да какая же она неизвестная, когда...

Неизвестная. Товарищ милиционер, я в этом доме двадцать лет живу. Меня все знают, и они знают, и вы знаете.

Милиционер. Молчи, Арутюнъян, я не с тобой... "в нетрезвом виде привел неизвестную женщину и хотел уходить..."

Я. Я шел в аптеку за скобками.

Старший. Молчи, Домбровский, до тебя дело еще не до-

шло. Так вот, значит, нетрезвый привел неизвестную. Хотел уйти неизвестно куда, оставить неизвестную одну.

Мой товарищ Саркисов (он до сих пор стоял и молчал). То есть позвольте, а я? Меня вы что же, за человека не считаете? Он мне специально сказал: побудь с ней.

Старший. Что он вам сказал — нам неизвестно, и кто вы такой — нам тоже неизвестно.

Саркисов. Так вот мои документы.

Старший. Мы у вас их требовать не имеем права. Вы тоже неизвестный. И вообще уходите. Вы здесь ни при чем. — Так значит ясно, товарищи жильцы: оставил неизвестную, уходил неизвестно куда и зачем, а когда вы стали возражать, обозвал вас нецензурно. Нетрезвый.

Второй милиционер (подсказывает). И милицию тоже.

Старший. Да, да и милицию, конечно, тоже. Вот так! Чтоб через полчаса бумага была. Пошли, Домбровский. Пошли, пошли, Арутюнян. А вы, товарищ, куда? Нам вы не нужны (это уже на улице).

Я. Но он мне нужен, он же свидетель.

Старший. Свидетелей вам не полагается. А ты, Арутюнян, убирайся, убирайся. Если я тебя еще увижу здесь...

Я. Но загляните хотя бы на минуту в подвал, там ведь весь пол в крови.

Старший. Ты, Домбровский, задержанный, и не учи милицию. А ты, Арутюнян, поворачивайся быстрее, если не хочешь неприятностей. Знаешь, что бывает за сопротивление властям? Да и вы бы, товарищ, тоже шли.

Но товарищ пошел со мной в милицию.

Милиция. 18-е отделение. Последний переулок. Начальник — тов. Смирнов. Мне пришлось ждать его порядком, без него, оказывается, никто ни в чем разобраться не может. Много народу. То, что я заступился за Валентину Арутюнян, вызывает неудержимое веселье у окружающих. В словах и выражениях здесь не стесняются. Смешон самый факт: резали? Кого? Резали? За что? Резали? Который раз? Само слово "резали" — один из самых страшных глаголов в мире — здесь кроме смеха ничего не вызывает. Приходит и наш участковый Богданов. И меня, и Арутюнян, и мое отношение к семье Арутюнян он знает и понимает сразу все, что здесь происходит. Вся улица его уважает. Это серьезный, молчаливый, строгий, справедливый человек. Но как сказать что-то свое, противоречащее общему мнению? И вот он тоже говорит о лишении Арутюнян прав материнства, и о том, что совсем тебе, Домбровский, не нужно бы туда ходить.

В эту минуту приходит начальник.

Я и вправду и до сих пор считаю его порядочным человеком и хорошим работником: скромный, тихий спокойный капитан в милицейской форме. У него мягкие манеры и усталое лицо. Дело это его не особенно заинтересовало. Арутюнян он знает хорошо. А меня вспоминает по другому случаю и говорит: "А ведь Тарасов тогда о вас замечательно отозвался". О Тарасове разговор еще впереди. И поэтому я привожу только слова капитана. Затем капитан читает мое объяснение.

— А где Саркисов? — спрашивает он, оглядываясь.

Я говорю, что он только что ушел, ему предложили подождать на улице.

— Пойду поговорю с ним (качает головой). Да, эта самая Арутюнян... Беда!

Уходит. Возвращается минут через десять, вздыхает. — Ну, что ж, идите домой, товарищ Домбровский. Вот только мне надо будет вас завтра увидеть. Подпишитесь, пожалуйста, на этой повестке.

Подписываюсь.

Уходим.

Конец вечера проводим в Доме литератора. Там я давно не был и попадаю в торжественный момент. У Юрия Полухина родился сын. Выпиваем за его здоровье. Рассказываю товарищам о том, в какую идиотскую историю я чуть не попал: защитил женщину и мог бы оказаться мелким хулиганом. Ее же прогнали обратно к тем, кто ее избивал: в общем, иди и пусть тебя добьют. На меня составили протокол. Хорошо, что попался умный начальник.

— Слушай, Юрий, да уезжай ты отсюда, — говорит мне Полухин. — Я твоих жильцов вот как знаю. От них без оглядки бежать надо! Что — неплохие люди? Пусть неплохие, но жить они дадут только себе, а не тебе. Дверь запирай в десять часов. После десяти не приходи! Гостей не води! Все женщины у тебя — проститутки. Все мужчины — пьяницы! Порядочные люди ходят только к ним. Уезжай ты за ради Бога. Неужели это так сложно?

Домой пришел в полночь. В подвал и не заглянул. Начальник мне сказал, что пошлет туда людей. Я приду утром и тогда мы поговорим обо всем.

Наступает утро.

Поднимаюсь рано, как говорят — чуть заря. Трамваи еще не ходят. Надо очень много еще сделать до вечера: вечером из Пятигорска ко мне приезжает друг. Мы не виделись с ним уже

года три. То он в командировке, то я в отъезде, то еще что-нибудь такое. И вот я прибираю комнату, выкладываю на стул чистое постельное белье, покрываю его газетой. Друг будет жить тут у меня, других адресов у него нет; накануне мы обо всем договорились по телефону. А днем нужно писать, писать: АПН заказала большую статью для Америки. Статья историческая и требует раскопок. Вот сижу, читаю и выписываю.

В десять часов приходит Саркисов. Я встречаю его с ручкой в руках.

— Ну что, старик, ты готов? — Пойдем, — говорит он. — Просили пораньше.

Заходим в милицию. Поднимаемся вверх. Кабинет начальника заперт. Где ж он? Никто не знает. "Справьтесь в дежурной части", — советует уборщица.

Спускаемся в подвал. За барьером сидит дежурный и что-то пишет. На скамейках позевывая, переговариваясь, сидят несколько милиционеров. Видно, что смена только что кончилась. Спрашиваю о начальнике. Он поднимает на меня глаза: "А что?" Я говорю что-то, и сразу все меняется: смех и гогот — все то, что я уже слышал вчера. Произошло что-то очень смешное. Рыжий что ли прямо в парике ввалился в дежурку, пьяного ли за руки и за ноги притащили и бросили.

— Пришел? Пришел! Ну, теперь садись жди — скоро поедем!

— Да мне ждать-то долго нельзя, — объясняю я. — Мне еще в Ленинскую надо. Если начальник занят, так я может быть потом зайду.

Опять смеются. Дежурный говорит:

— Да нет, зачем — позже? Позже ты уж не зайдешь... Позже мы тебя сами в хорошее место свезем. На машине! Видишь какой почет тебе, Домбровский!

И он опять что-то пишет.

Я смотрю на товарища. Произошло что-то не то и, кажется, что-то очень плохое.

И Саркисов тоже смотрит на меня.

— Ты хотел утром звонить своему секретарю? — говорит он, — звонил?

Я махаю рукой. Секретарю я звонил. Разговаривал даже с его женой. Секретарь спал. Жена попросила позвонить попозже. А я так ушел в работу, что все позабыл. Да потом, что бы я ему стал говорить? Какие у меня соседи? Так он знает это лично. Был у меня неоднократно. Как они себя ведут, он знает тоже. Что ж я бы стал ему объяснять?

Проходит еще минут десять, потом пятнадцать, потом полчаса. Оба сидим и ждем.

— А зря, — говорит вдруг товарищ. — Зря ты к нему не дозвонился. Надо бы обязательно дозвониться.

— Слушай, — говорю я. — Вот тебе ключ. Ко мне будут звонить из редакции. Скажи, пожалуйста, что я запоздаю.

Снова смех.

Дежурный поднимает голову.

— Запоздает, запоздает! — жизнерадостно объясняет он. — Обязательно запоздает! Иди, иди, звони, скажи, что он запоздает!

Товарищ уходит. Еще через десять минут приходит зам. начальника. Проходит за барьер и садится за стол.

Ему подают мою повестку.

— А где он? — спрашивает зам. начальника.

— А вот, сидит на лавочке ждет.

Зам. начальника поднимает голову.

— Ждет? — повторяет он смешливо. — Ну, и пусть ждет. — Берет дело и переворачивает лист-другой, читает, хмыкает. Все написанное ему очень нравится: ругал милицию? Так, так! Привел неизвестную? Отлично! А всего лучше другое: он встает:

— Помните как мы месяц назад говорили с вами по телефону? — спрашивает он торжествующе.

Отлично помню этот разговор, хотя бы потому, что он совершенно не походит на этот. История это, конечно, неприятная. Я уже упомянул о ней: неделю тому назад у меня в комнате подрались два человека, которые увидели друг друга в этот день впервые. Дело получилось так. Ко мне со стихами ходил один из начинающих. Школьник 11-го класса. Его мать, знакомая моего хорошего знакомого, просила посмотреть стихи и оценить. Вот он ходил и читал, а я слушал. Но слушать-то я слушал, а сказать ничего не мог, т.е. в общем-то стихи мне нравились и даже не то, что, пожалуй, нравились, а просто я подумал, что из парня может получиться толк, но в стихах такого рода — с очень приближенными ассонансами, с рваными строками, скачущим ритмом, я понимаю не много. А сказать надо было что-то очень весомое, ясное. Вот я и позвонил одному поэту и попросил его зайти. Мы были хорошо знакомы. Его книга только что вышла и имела успех, а за год до этого я отвез целый цикл стихов этого поэта в "Простор". Паренек был тоже из Алма-Аты, так что получилось так, что отчасти как будто встречались земляки. Поэт пришел ко мне с алмаатинкой, студенткой какого-то московского института. Она читала мой последний роман и хотела со мной познакомиться. И такое тоже иногда бывает. Сидели, слушали стихи, пили чай да пиво (больше на столе ничего не было: пареньку не исполнилось и 18). И все бы окончилось так же хорошо, как и началось, но на беду в этот день (и

надо же случиться такому!) ко мне забрел товарищ. Я знал его лет сорок (вместе учились), а не видел года три. Вот этот уж был пьян. Да пьян-то был как! — зло, агрессивно и запальчиво-обиженно. И второе совпадение: он три года воздерживался, а сегодня как раз его и прорвало. Во-первых, кончились какие-то сроки и зароки, а во-вторых, приезжала дочка, которую он не видел бог знает сколько времени. Вот он и завелся.

Пока мы слушали стихи, и все было в порядке. Я знал беспокойный характер моего друга и отсадил его подальше от девушки в самый, самый угол, ибо он уже начал придирааться. Но вот пришлось мне на минутку выйти из комнаты. Ровно на минутку, но вернувшись, я застал что-то совершенно невероятное. Тарасов (так звали товарища) сидел в коридоре на стуле около телефона и вызывал милицию. Из носа у него текло и он обтирался ладошкой. Вокруг стояли жильцы и кричали о разбое. Я вышел с чайником и все набросились на меня: "у тебя в комнате..." А я ровно ничего не понимал. Только что все было тихо, мирно и вдруг... Словом, я так ничего не понимал, что и сказать ничего не мог. Только потом в милиции обозначились контуры происшедшего. Но именно — контуры. В общем, когда я вышел, этот мой старый товарищ, который "завязал на три года" и вдруг напился сегодня, полез сначала к девушке, а потом и к поэту. Лезет всегда с "приемами". Тот и оттолкнул его ладонью и расквасил ему нос. Другая версия: он полез, его толкнули, он и приложился носом об угол шифоньера или стола. Что вернее — не знаю, потому что ровно ничего не видел. Пришел участковый Богданов и увел всех в отделение. Заставили писать объяснение. Тарасов пошел перевязываться и написал там показания отдельно. И так как я вообще ничего не знал и не видел, а все остальные (в том числе и обиженный) показали согласно, что все произошло мгновенно, вспышкой, в отсутствие хозяина, то этим все и кончилось. Ни протокола не составили, ни постановления не вынесли. Да и то сказать, разбитый нос не слишком большое дело, если его обладатель пьян и ничего объяснить не может, а все остальные трезвы. Да и с чего бы ударили совершенно незнакомого человека — и не где-нибудь, а в гостях? И не кто-нибудь, а другой гость! И все было бы в порядке, потому что даже в лупу в этом печальном столкновении не увидишь хулиганства, если бы не зам. начальника. Он вдруг позвонил в Союз. Попал на секретаря президиума, и рассказал ему о драке. Тот спросил: "Ну, а какая же в этом роль Домбровского?" Пришлось сказать, что роли-то ровно никакой и нет.

— Тогда какая же его вина? — спросил он. И опять пришлось сказать, что и вины тоже как будто нет.

— Ну, тогда что же?

— Но вот ведь столкновение-то произошло в его комнате, — сказал милиционер...

— Знаете, мне некогда заниматься глупостями, — ответил милиционеру секретарь. — Сейчас у нас проходит съезд, мы готовимся к конференции, а вы хотите поднять шум бог знает из-за чего. Эти двое сами взрослые люди. Пусть и разбираются. Что третьего-то мешать? Ведь он не видел даже ничего.

Вот после этого разговора и позвонил мне этот самый зам-начальника. "Зайдите в милицию для разговора". Но у меня в это время сидел мой переводчик, и я просил разрешения зайти не сию минуту, а примерно через полчаса. — Мне было бы очень неприятно, — сказал я, — вдруг оставить моего гостя одного. Что б он подумал?

Наступило минутное молчание.

— Ладно, — ответили мне, наконец. — Тогда давайте поговорим по телефону. Вот вы знаете, что у вас несколько дней тому назад произошло в комнате...

— Знаю, и очень жалею, — ответил я. — И ту, неизвестную молодую девушку жалею, и паренька, который пришел читать стихи, тоже жалею. Не надо было им видеть этакое. А Тарасову, пожалуй, поделом — не лезь! Я его знаю! Но раз это произошло у меня, то и я виноват тоже, конечно.

— Так вот, — сказал зам. — Я бы очень просил вас, чтобы больше этого не повторялось. Тут нужно иметь дело с настоящими преступниками, а отвлекаешься на какую-то чепуху.

Голос был мягкий, даже вибрирующий. Человек говорил вежливо, деловито, да и я сам понимал, что произошло черт знает что. "Какие же хорошие люди попадают в милицию", — вот что я подумал тогда.

— Товарищ начальник, — ответил я. — Практически, конечно, я могу поручиться вам чем угодно, что ничего подобного у меня больше не повторится. За мои 57 лет гости в моей комнате подрались впервые. Но, говоря чисто юридически, какую я могу вам дать гарантию, какие меры тут принимать? Ведь вспомните, я — даже как свидетель — вам не пригодился. Они взрослые люди, члены творческих союзов, и каждый, в конце концов, отвечает только за себя. Позвоните в их организации, и вы точно установите долю вины каждого.

— Да я звонил, — ответил мне начальник невнятно. — До свидания.

Так вот, этот самый человек и сидел теперь передо мной.

Т.е. сидел-то теперь совершенно иной человек, насмешливый, всемогущий, довольный тем, что наконец-то пришла и его очередь.

— Я покажу вашему союзу! — сказал он. Если секретарь опять мне так ответит, я и его привлеку. Хулиган! — вот кто вы такой.

Я так ошалел, что только и сумел повторить.

— Хулиган?

Он поднялся из-за стола. Он очень грозно поднялся из-за стола и стоял теперь передо мной, отделенный барьером, и я сразу понял все: по ту сторону барьера — карающая рука закона и сам закон — т.е. он; а по другую — преступление и вина, — т.е. я.

"Хулиган". "Он покажет". Сколько лет я уже не слышал подобного. Я вспомнил все и почувствовал, что задыхаюсь. И поскорее отошел от него.

— Ну ладно, я хулиган, а тот, что резал женщин, тот кто?

Он фыркнул.

— Кого не надо, того не режут, — ответил он. — Что, проституцию разводить вздумали? В подвал бегать? Баб водить?

Тут я пришел, наконец, в себя. Нет, я не подошел к барьеру, я как стоял, так и остался стоять у стены.

— Знаете что? — сказал я. — Вот сейчас на вас ваш мундир и вы за барьером. Вы как говорится — при исполнении. Но когда-нибудь я вас встречу без мундира и не "при исполнении", тогда я вам на все отвечу по-мужски: и на хулигана, и на проституцию, и на это "баб водить". И вы этот разговор на всю жизнь запомните. Уверяю вас, что запомните, гражданин хороший!

Потом мне говорили, что все это я сказал почти шепотом. А мне тогда казалось, что я ору на всю дежурку, но, наверно, кто-то словно сдвинул мне горло, и поэтому я говорил тихо-тихо. Сказал и сел. Кто-то сзади осторожно тронул меня за плечо. Оглянулся — Саркисов. И тот за барьером тоже потерялся.

— Вы свидетель! — говорит он. — Вы слышали, как он разговаривает со мной?

Тогда Саркисову в праве быть свидетелем отказали, а сейчас ему эту роль навязывают силком. Он растерянно улыбается. Я сижу на лавке. Меня не трясет. Нет, я весь застыл, окаменел в какой-то злобной судороге, как тогда, в 38 году, перед орущей и кривляющейся мартышкой в майорском мундире. Я уже больше не могу ни говорить, ни кричать. Мне остается только сидеть и ждать, когда это отхлынет. Надо мной наклоняется товарищ и что-то говорит, но я еще ничего не воспринимаю. Так проходит с полчаса. Потом подходит милиционер, заглядывает мне в лицо.

— Ну как? — спрашивает он.

— Ничего, — отвечаю я.

— Ну вставай. Поедем.

В руках его палка. До меня еще не все доходит — куда поедем-то?

— В суд. Закон от 19 декабря. Мелкое хулиганство, штраф — десятка, — объясняет милиционер.

Тут, наконец, сознание возвращается ко мне полностью и я встаю. Хорошенькое дело, объясняйся с судьей, потом административная комиссия, потом бумажка в Союз, потом разговор в секции, рассказывай всюду и везде об одном и том же. Да и кто поверит во все это?!

И вот суд. Большая комната — зал судебных заседаний. В нем все как полагается — возвышение, гербы, стол, судейские кресла, скамья подсудимых — лавки. Мы сидим на этих лавках и ждем. Мы — это несколько милиционеров, тройка или четверо сочувствующих и глазеющих и примерно с десятков очень помятых, растерянных личностей в жеваных костюмах. Их привезли прямо из отделения, а ночь на полу или на скамейке и короля английского превратит в пугало, в особенности, если соседство попадается подходящее. Привели меня двое милиционеров. Один из них вышел с моим делом и через минуту возвратился сияющий. Он ходил к кому-то на доклад и показывал мне бумаги

— Домбровский, — кричит он мне радостно. — Судью Милютину знаешь? Ну, 10 суток обеспечено.

”Да, — соображаю я, — если Милютина, тогда все возможно”. Эту даму я знаю хорошо. Это воистину тот судья, который сомнений не имеет. Гражданин у нее всегда виноват. Любое учреждение для нее — государство, советская власть. Доказательства сверх этих истин не существует. Но о ней я напишу особо в конце. Она стоит разговора. А сейчас мне надо передать темп, в котором все завертелось — ать-два. Сидим друг другу в затылок. Дверь открывается и закрывается. Следующего, следующего, следующего! Человек вылетает с 10-15 сутками через каждые 3 минуты.

Как-то у Охлопкова я смотрел ”Бравого солдата Швейка”, сцену медосмотра новобранцев. ”Дышите — не дышите. — Покажите язык. Годен.” Пять слов — 20 секунд — лети! Честное слово, и сейчас я вспомнил Охлопкова и Швейка!

Подошла и моя очередь. Вхожу в комнату: нет не Милютина, это какая-то другая дама. Значит, Милютина сосчитывается со мной через нее. Женщина говорит по телефону. Вхожу и сажусь, потому что разговор у нее долгий и развеселый. Судья Кочетова — это она — общительный и видно прекрасный человек.

Звонят ей много, разговоры веселые и дружеские. Речь идет о встречах, о поездках, о выходном дне, о том, что мы вас ждали, ждали, а вы... Подсудимые стоят и слушают. Из тех трех минут, верные две уходят на разговоры. Трубка положена. Я поднимаюсь. Кочетова листает первый лист дела и смотрит на его последние строчки. "Выражался нецензурно", — читаю я за ней. Привычным движением она придвигает к себе бланки, берет ручку, нацеливается. В это время телефона звонит снова. Она слушает и вдруг широко улыбается. Это опять приятный разговор о поездках, о том, кто пришел, а кто не пришел, о том, что мы ждали, ждали... У меня все время ломит ноги и позвонок, это предвестники нервного припадка, и я опускаюсь было опять.

— Стойте, стойте, — приказывает она мне быстрым суеверным шепотом, и продолжает улыбаться, упрекать, оправдываться, приглашать, сговариваться. Это звонил какой-то, очевидно, очень хороший знакомый, потому что она и секретарше сообщает — "звонил, мол, вот кто", и та тоже улыбается. Я стою перед ней навывтяжку и слушаю. Она кладет трубку, лицо ее скучнеет — это значит, суд не прерывался ни на секунду, и телефонный разговор, это тоже часть процедуры.

— Хулиганили, выражались нецензурно? — спрашивает она.

Я отвечаю ей, стараясь говорить ровно и тихо, хотя мне это плохо удается, что не выражался и не хулиганил, а просто спрятал женщину, которую били. Она опять вслух читает мне последние строчки милицейского рапорта. Мои слова ее никак не задевают, не интересуют и не настораживают. То есть происходит то же самое, что и в милиции, только здесь даже и не смеются. А я боюсь, что ей опять позвонят и пригласят куда-нибудь и поэтому быстро выпаливаю все. Она слушает и не слушает, смотрит на меня и не смотрит, потом тихо подвигает к себе бланк. Страшные слова: "рвали рот, били по лицу, резанули ножом" — ее не трогают совершенно. Ей все ясно.

— Но вот две женщины подписали, — говорит она.

Я объясняю, что одна женщина прибирала мне комнату, иногда готовила, потом по разным причинам мне пришлось с ней распрощаться. Тогда я (единственный раз) обратился вот к этой "неизвестной" — Арутюнян, и она мне помыла полы. Таково первое зерно скандала.

Я говорю, у нее в руках самописка, и ничего ее больше не интересует. Она вписывает мою фамилию, и задерживается перед профессией.

— Так вы что? Писатель? — спрашивает она смешливо.

Никогда в жизни никому с таким отвращением я наверно не отвечал "Да"!

— Что ж вы написали?

Я молчу. Я не в силах с ней дальше говорить.

— Не слыхала, не слыхала, — говорит она. — Не слыхала такого. Вот есть Шолохов, Федин, Фадеев, Симонов... — и голос у нее поет. Потом она резко одергивает себя:

— Так вот. Десять суток, — и нравоучительно: и постарайтесь из этого сделать для себя выводы.

Я глубоко вздыхаю. Слова не идут уже у меня из горла. Что десять суток мне, просидевшему двадцать пять лет? Разве в них дело?

— Похоже из этого сделаете вывод вы, гражданка, — говорю я. — Я постараюсь об этом.

—Э-э, — отвечает она и откладывает постановление в сторону. —Э-э!

Хулиганством называется неуважение к личности, сопряженное с озорными действиями. Злостным хулиганством называются те же действия, но совершенные с крайним цинизмом. Большого неуважения к личности и большого цинизма, чем этот телефон на столе перед судьей и ее разговоры о прогулках и встречах во время вынесения приговора перед вытянувшимся и ожидающим своей участи человеком, я поистине не знаю. Это, конечно, не хулиганство, может быть, даже это и не надругательство над человеком (на него просто плевать и все), но это, пожалуй, даже хуже. Это унижение закона. Его величья. Это сведение роли судьи к дамочке, тарабарящей по дачному автомату. Какое уважение к себе может внушить такой суд и такая судья? Гражданка Кочетова, я почти уверен, что вы не плохой человек — но кто же вам вбил в голову, что можно трепаться во время суда о встречах?!

Итак тюрьма. На этот раз Краснопресненская пересылка. Вначале всего — душ и машинка. Бреют догола. В этом глубокий воспитательный смысл. Пусть тебя, такого-то, увидят в той квартире, из которой увели. Смеху-то, смеху-то сколько будет! Ну, а смех, думает, по-видимому, автор этой неумной затеи (впрочем, авторов несколько — от прокурора до начальника санитарной службы города Москвы) тоже воспитательный фактор. Но ведь можно сделать и еще смешнее, так что окружающие кататься будут, можно остричь еще и полголовы, стричь полосами и выстригать кружок на темени! Смеху тогда будет еще больше.

Бреет один из заключенных. Делает он это умело и споро — раз, два и готово.

— Слушай, — говорю я ему, садясь, — а ведь это же, пожалуй, издевательство, а?

Он поднимает на меня неожиданно умные и серьезные глаза и отвечает очень просто.

— А как же? Конечно.

— И давно они этим занимаются?

— С нового года ввели. В камере прочтешь.

— Гуляют, — вздыхает около меня пожилой крепкий мужчина лет шестидесяти. — Ох, и гуляют.

После этого нас ведут в камеру. Ведет старшина — добродушный и посмеивающийся сверхсрочник. "Декабристы" для него что-то очень несерьезное и потешное, и в самом деле, что значит сутки, когда в соседнем коридоре сидят люди со сроком восемь, десять и более лет?! Ведь тюрьма-то пересыльная. Кроме того, ему и забот с нами никаких. На отправку выводить не надо, прогулка нам не положена, на работу не выводят, а стеречь — да кого же стеречь, кто побежит? Но камера-то настоящая: железная дверь, в ней кормушка, двойные решетки на окнах, железные затворы, нары. Привел нас надзиратель, сказал: "размещайтесь", щелкнул замком и ушел. Лезу на верхние нары, устраиваюсь, перевожу дыхание и оглядываюсь. Да, таких камер я еще не видел. Все полным-полно. Плюнуть негде. В 39 и 49 году приводили нас иногда и в такие камеры, но часа на два-три, много-много — на сутки. А здесь находятся по полумесяцу. Это значит, что пятнадцать суток ты здесь просидишь или пролежишь, но ходить ты не будешь, даже ноги размять негде. Крошечное пространство между нарами забито столом, прогулка не положена, оправка исключена, умываются над унитазом, свежий воздух поступает через чуть-чуть приоткрытую фрамугу. Все эти невозможности: невозможность двигаться, дышать, гулять, курить не в камере, а на воздухе, искупаются по мысли законодателя тем, что люди большую часть дня проводят вне камеры — работают. Но в том-то и дело, что здесь никого никуда не выводят. Просто не нужна наша работа. Дай Бог, если вызовут за сутки двух-трех человек во двор или по коридору. Хозяйственники это хорошо знают, что такое труд заключенного и пересылку обходят за десять верст. Во всяком случае, при мне вызвали один раз двух человек, в другой раз — трех. Одних часа на полтора, других — на два. Оба раза для работы по коридору.

Сажу на нарах и думаю, а как же здесь спать? Ведь ни матраца, ни подушки, ни одеяла нет. В монастырях такие вещи называются епитимией, послушанием и преследуют совершенно определенную цель — умерщвление плоти. Здесь же, по мысли законодателя, все должно воспитывать. Выйдешь отсюда бритый, будешь шататься, засыпать на ходу (шутка ли — пятнадцать су-

ток провалиться на голых досках), второй раз не попадешь. Надо мной висят правила, и я читаю их по несколько раз за день (другого чтения нет).

Вот читаю: "Все арестованные проходят санобработку и стригутся в обязательном порядке. Примечание: Женщин бреют только по указанию санитарной комиссии".

Гражданин законодатель, изобретатель вот этой мухоловки — камеры без оправок, прогулок, постелей, почему вы все же не последовательны? Брейте и женщин! Брейте их догола. Что вас останавливает? Ведь делали же это во время фестиваля 1957 года. Пускай хулиганки, алкоголички, аморалки пройдут по улицам остриженными наголо, с синеватыми черепами. Вот будет над чем посмеяться, вот уж кому придумают по двору всякие клички! А ведь ошельмование, надругательство — это, по-вашему, профилактика преступления! Непоследовательность губит всех благодетелей человечества, гр. законодатель, прокурор или санитарный врач города — так стригите же, брейте, болваньте, шельмуйте женщин. Помечайте их так, чтоб над ними грохотали все газовые плиты, все кастрюли и комнаты коммунальной квартиры. Доводите наш моральный кодекс до полного всеобщего понимания. Женщин вы не стрижете, что за нелепость?!

Читаю дальше. Каждому арестованному предоставляется спальное место без постели. Выражение очень сильное. Что место без постели может быть спальным — не думали ни Ягода, ни Ежов, ни Берия, ни Абакумов. Пук соломы в мешке да горсть сена в наволоке они давали всегда. Режим вокзальной свалки в течение полумесяца — это действительно что-то совершенно новое в истории пенитенциарных систем. Впрочем, тогда у Берия — соображаю я, — от человека что-то требовали; последственный должен был отвечать на вопросы, помогать следователю в сочинении так называемого "романа", называть фамилии и т.д. Осужденный работал. Дел было много. Пытка бессоницей применялась именно как пытка, то есть только тогда, когда имело место какое-то вымогательство: подпиши показание, подтверди на очной ставке то-то и то-то, обличи такого-то. "Помоги следствию". Когда же бедный мавр, доведенный до чертиков делал свое дело — в кого-то там тыкал пальцем, что-то там подмахивал — его душу отпускали на покаяние — отдохни до лагеря (или до расстрела). А в лагере постели уже были настоящие, иногда даже с простыней. Не выспишься — не поработаешь, это наши начальники усвоили себе железно. Каждый из них считал бы сумасшедшим своего соседа, если бы он вывесил вот это правило. "Спальное место без постели".

Тут могут, пожалуй, возразить, но ведь там и сроки были иные — пятнадцать лет и пятнадцать суток — есть разница! Ах, какая чепуха! Самое-самое страшное это именно и есть не года, а десять-пятнадцать суток. Ведь только длительность переходов — одиночка (с постелью все-таки), допросы, пересылки — одним словом полугодовой срок переподготовки свободного человека в ЗК, в номер такой-то, и давали этому номеру силы и моральные и физические. Они воспитывали его. Иммунизировали. С этой позиции, даже следствие с его матом и кулаками имело свой благодетельный смысл. Стащи человека с постели и брось его сразу в лагерь, — он и трех дней не выдюжит, а переходя из одного круга ада в другой, люди выносили и такое, что после им самим казалось фантастикой. Один замечательный, но безымянный поэт в одном из своих стихотворений, очень кстати вспомнил, что последний, девятый круг ада — мороз и лед. Так вот в этом девятом круге мы жили годами и даже стихи там писали. Потому и жили, что до этого времени прошли все восемь кругов по порядку. А вот если б порядок изменился, если б сразу с первого круга нас кинули в пятый или шестой, тогда бы, конечно, была катастрофа и смерть.

Всю ночь я не спал, то есть находился в том полубредовом полубодруствующем состоянии, когда действительность расслаивается и начинает делаться сквозной, через желтую лампочку, доски, стены проступала моя улица, моя комната, книги, которые я должен был прочесть до завтра, работа, которую я не закончил. Так же не спали или спали все. Лежали, смотрели на окно — скоро ли оно побелеет, закуривали, слезали, сидели, почесывали желтые, обритые головы. В шесть часов — подъем. Но подъем тут, это, конечно, понятие условное. Просто в шесть часов раздача хлеба. А есть здесь никто не хочет. Вялость, духота, неподвижность, скученность — она перебьет всякий голод. В первые дни во всяком случае.

Меня все время одолевает дурнота. Она началась еще вчера, когда я впервые увидел кровь, чуть не накатила на суде и накрыла меня с головой, когда я сидел и ждал отправки в тюрьму. Она и сейчас не оставляет меня — то нахлынет, то спадет. Слезаю с нар, чтобы выпить воды. Над раковиной умывается тот пожилой, 60-тилетний, с которым мы стояли в очереди к парикмахеру. Это тогда он сказал "гуляют". Сейчас я с удовольствием смотрю на то, как он умывается. Истово трет лицо, потом каким-то обмылком до пены мылит голову, смывает воду, вынимает из кармана чистый платок и вытирается досуха. Общим полотенцем не пользуется. Все делает солидно и основательно. И одет солидно: крепкие рабочие сапоги, грубошерстные брю-

ки, пиджак. Кряжистый, большой неторопливый человек. Вымылся, вытерся, повесил платок на край нар (просушиваться) потом поднял на меня глаза и слегка подмигнул.

— Ну как? — спросил он.

Это он о том, какие у меня были волосы.

— Что ж, сейчас лето, — отвечаю, — так легче будет.

— Это так, — охотно соглашается он. — Я, когда был моложе, всегда брился догола.

Он идет на свое место и садится. Я тоже, подождав немного, подхожу к нему. Он подвигается, и дает мне место.

— И на много вас?

— Пустяки, всего на пятнадцать суток, — отвечает он. — Вот видишь, как хорошо гостей встретил.

Расспрашивать в тюрьме не полагается, но он как будто вызывает на разговор.

— Вы что ж, выпивши были?

— Ну! Я ее и в рот не беру.

— А...?

— А вот так! — и он рассказывает, что случилось.

Жена позвала в гости родственников, потом выяснилось, что закуски маловато. "Ты бы хоть селедочки принес," — сказала жена. Он и побежал на угол в магазин за селедкой. Смотрит, бочка. На бочке надпись: "Рубль сорок кг" и на витрине в судке селедка — крупная, жирная. Стоит очередь. Он встал тоже. "А дают они, понимаешь, совсем из другой бочки. На той вовсе цены нет. И все берут, молчат. А когда подошла моя очередь, я и прошу продавца "Вы мне, молодой человек, отпустите из той, где цена". "А товар везде, — говорит, одинаковый, — что в той, что в этой". "Ну, а если одинаковый, то дайте из той. А он и не слушает, раз-раз, свешал, завернул, говорит "полтора рубля". "Нет, — говорю, — я этой не возьму. Вы мне ту отпустите". "Товарищ, — говорит продавец, — не нравится — уходите! Кто возьмет за полтора рубля?" А я заспорил: как же так, стоял и уйду ни с чем. Тут милиционер как раз подходит. "В чем дело?" А вот, — говорит, — задерживает очередь, скандалит". Милиционер, конечно, сразу держит за него. "Что же это вы скандалите, гражданин? Берите покупку и уходите". Я ему свое, а он меня за рукав. Я ему объясняю так и так, а он меня локтем: "товар везде один, вы не лавочная комиссия, чтоб проверять". Я и озлился. "И вы, — говорю, — неправильно поступаете. Вы должны за рабочего человека заступиться, а вы вон чью руку держите. Не затем вы поставлены, чтоб так себя вести". Тут он сразу меня — хоп! "Скандалишь? Да еще милицию оскорбляешь?! Не хотел домой идти, так со мной пройдешь". И вот видишь, пятнадцать

суток за хулиганство и оскорбление властей". И он опять усме- хается. Говорит ровно, спокойно, беззлобно, как будто и не о себе, улыбается и кончает:

— Вот так, дорогой товарищ, и принял я гостей.

Акцент у него нерусский. Это не то татарин, не то мордвин.

— И говорите, совсем не пили?

Он поднимает руку и истово показывает мне кончик боль- шого пальца с желтым ногтем.

— Вот столько, за свою жизнь не выпил, — говорит он тор- жественно. — Я и понятия не имею, что такое, водка, что такое вино.

— И не ругались?

Он качнул головой.

— Сроду, — говорит он твердо, — сроду никогда.

— Значит, за что-то тебя крепко милиция полюбила, — ска- зал кто-то рядом.

Он развел руками.

— Да ее и вижу только на улице. Даже свидетелем нико- гда не был, а тут вот сразу в суд и пятнадцать суток.

— А небось написали: нецензурно выражался, — догадыва- ется кто-то.

— Ну вот, вот это самое. Нецензурная брань, — смеется он и все смеются тоже.

— Это уж они обязательно напишут, — объясняет тот же человек. Тут со мной глухонемого судили. Так то же вlepили — "нецензурная брань". Даже судья засмеялся. "Ну это уже переборщили, — говорит. — Пишут черт знает что".

— Ну и что?

— Да что? — 15 суток. Вот он рядом, в соседней камере за стеной.

— Да не может быть, — говорю я. — Анекдот?!

— Да нет, нет, — сразу откликается несколько голосов. — Точно, точно. Вон за стеной сидит.

И все опять смеются.

Вот ведь что самое скверное: смеются!

— Да вы бы объяснили, — говорю я соседу, который в один и тот же день получил путевку в Сочи за хорошую работу и пят- надцать суток ареста за хулиганство. — Объяснили бы, как бы- ло. Ну, поругались с женой, ну, сказал ей что-то там такое. Так ведь рук-то вы на нее не поднимали.

Это молодой красивый парень лет тридцати пяти, рыжий, рослый, сильный. История у него такая. Он был премирован как лучший ударник путевкой. Завком обещал выдать трид- цать рублей на дорогу. Ехать через два дня.

— Ну, конечно, хватили немного на радостях. Отрекаюсь не буду. Но так... Нормально. Прихожу к жене, говорю ей — вот какой мне почет, а она сразу чуть не в морду. "Уже договорился там, — кричит, — со своими дружками. Поедешь пьянствовать да котовать, а я тут без денег буду сидеть! Знаю я ваши отдыхи". Ну, слово за слово. Я сначала смехом, смехом, а потом уж пуганул ее как следует. Она мне, я ей. А руку не поднимал. Я этого не придерживаюсь — нет! Но крику верно много было. Она в кухню убежала, а я спать лег. А часа через два будит милиционер: "Собирайся, пойдем". "Куда?" "В милицию, соседи заявление написали". Вот. Привели, посадили. А на другой день пятнадцать суток.

Все смеются. Уж больно здорово получается. Молодцы милиционеры! Молодец судья! Вот тебе и курорт! А меня возмущает нелепость положения. Как, за что, почему? Человек получил путевку, ну поругался с женой, ну покричали друг на друга, все может быть, и жену я тоже понимаю: ей действительно обидно — муж уезжает в Сочи (а он, наверное, ух какой парень!), а она остается одна, в общем, — поругались. Но где же здесь преступление? При чем тут Указ, милиция, суд, пятнадцать суток. Краснопресненская пересылка, бритая голова — в общем ничего не поймешь, какая-то сплошная нелепость.

— Да ты бы и рассказал, как и что, — говорю я, — хотя уже понимаю, насколько это бесполезно. Опять смеются. Но уж не над ним, а надо мной. А один с наслаждением рассказывает.

— Тут ведь вот какой суд. Судья меня спрашивает: "Ну, рассказывай, как что было?" А я говорю — "Да что же вам рассказывать, когда вы уже проставили пятнадцать суток". Засмеялся. "Ишь ты, какой глазастый, ну тогда садись на лавку, жди. Следующий!" Им объяснишь, им, чертям, как раз объяснишь.

Что им ничего не объяснишь, это я уже понимаю, но и согласиться с этим не могу. И еще мне подносят такую же историю. Рассказывает уже пожилой человек с проседью. Поссорился с женой, покричали — и очутился тут. Жена потом в милицию, чуть не на коленях валялась — "что ж мы с детьми есть-то будем? Ведь у меня и сейчас ни копейки дома, а он тут еще пятнадцать суток просидит". Ничего и слушать не хочет. Раз к нам попал, то...

Этот уже озлоблен, он не говорит, а лает: "Да чтоб я теперь! С ней!.. С этой стервой! Я и близко не подойду! Посадила меня — все! все! Она это, сука, чует, ходит, воеет! Нет, все! Я такой! Она знает! Я такой!

Вероятно он и действительно "такой". Говорит он решительно и как-то очень страшно. Он оскорблен до глубины души.

Семья разбита. Да, это кажется точно. Но говорить с ним очень тяжело. Это какая-то злобная конвульсия, припадок. Я поскорее отхожу. Меня интересует один человек. Я заметил его еще в бане. Обратил внимание на то, как он мылся, медленно-медленно проводил ладонью по лицу, словно творил намаз. Сейчас он сидит на краю нар, опустив руки вдоль колен и молчит. Он совершенно лысый, не бритый, а именно лысый, и серый, хотя, кажется, лет ему не так уж много. У него странная сосредоточенность. Он словно к чему-то все время прислушивается, примеривается. Во что-то вдумывается. Я подождал удобный момент и когда люди расползлись по нарам или же поползли к столу гонять козла (в камере непрерывающийся грохот — книг нету, на работу не выводят, так вот нарезали из фанеры дощечек и гремят ими по восемнадцать часов в сутки), так когда все разбрелось, я подсел к нему и спросил, а он-то тут за что? Он ответил: "жильцы сдали". Я спросил: "скандал?". К моему удивлению, он кивнул головой. А вид у него был совсем не скандальный. "Что ж ты так?" — Он промолчал. И опять, в нем было что-то очень странное, непонятное, отсутствующее — словом что-то очень и очень свое. И сидел он здесь по-особому — уверенно и стойко, как космонавт в кабине. А около угла рта все время держалась и не спадала кривая складка раздумья. Это при полной неподвижности.

— И что, большой скандал был? — спросил я.

— Да нет, не особенно. Просто постучал и покричал. Разозлился я тогда очень. Ну пристают и пристают ко мне.

— Почему же?

Помолчал. Подумал.

— Да не работаю я нигде, а выслать меня они не могут.

— А почему не работаете?

— Да не берут. Посмотрят документы и говорят — нет, нам не надо. Я шизофреник.

Он вдруг поднимает на меня глаза и вижу в них что-то очень мое собственное, человечески скорбное.

— А на пенсию трудно, очень трудно. Маленькая! Да и хранить я ее не умею. Обязательно выманят, — возьмут и не отдадут, — сказал, смущенно улыбнулся и опять ушел куда-то.

Вот все эти двое или трое суток как бы ни кричали в камере, о чем бы ни спорили над ним и перед ним, как бы его ни толкали на бок, он сидел так же тихо и неподвижно, недоступный ничему и никому. Его толкнут, он слегка привалится на бок, рассеянно потрет его, опять сядет и думает что-то свое, думает, думает. Господи, — подумал я, — так неужели они и этого воспитывают? Хотят ему что-то доказать? От чего-то остеречь.

Да разве через пятнадцать суток он будет иным? Я знаю таких по лагерю. Они весь свой срок, и 5 и 10 лет, проводили в таком же полусне. Иногда накатит на них что-то, они вскочут, побегут, застучат, закричат, а потом опять погружаются в прежнюю муть. И снова для них и день не день, и год не год.

А дышать мне все труднее и труднее, камера к вечеру становится голубой от дыма. На верхней полке и вообще не усидишь. И вот я толкую вниз и разговариваю с людьми. Мне хочется опросить как можно больше человек. Почти все преступления здесь одинаковы: ссора с соседом, ссора с женой, квартирные склоки. Под понятие хулиганства ни одно из этих дел не подходит. Это все больше казусы из той категории, которые раньше назывались "делами частного иска". Один жилец поссорился с другим, жена поругалась с мужем, что-то случилось в кухне над газовой плитой. Таких столкновений было сколько угодно и до этого. Но вот кто-то из более осведомленных скандалистов или соседей понял, что идет кампания, что милиция заинтересована в том, чтоб случаев мелкого хулиганства сейчас было указано в сводках как можно больше (раньше она была заинтересована как раз в обратном) и позвонил в милицию. Пришел милиционер, увел с собой одного и объяснил другим, как и что на него надо писать. А там рапорт (с обязательным "выражался нецензурно") — постановление, пятнадцать суток. Обжалованию не подлежит. И все — сиди!* И еще я думаю, что бумага все терпит и на ней все цифры выглядят убедительно. А между тем, что, по существу, могут значить хотя бы такие строки сводки: "Выявлено случаев хулиганства за отчетный период двести двадцать пять случаев. Из них сто человек были привлечены к уголовной ответственности по 206, а сто двадцать осуждены на разные меры наказания согласно указу от 19 декабря". Согласимся сразу: кто эти сто понятно. Над точностью квалификации их трудились сначала следователи, потом прокуратура, затем суд и защита, их дела направлялись в кассационные инстанции, а контролировались прокурорским надзором, так что они не остались без защиты, но вот те сто двадцать пять, осужденные единолично, не защищенные кассационными ин-

* А между тем еще в 1962 г. Пленум Верховного суда указал: "Разъяснить судам, что нанесение оскорблений, побоев, легких телесных повреждений и совершение иных подобных действий на почве личных взаимоотношений между гражданами, если при этом не было допущено умышленного грубого нарушения общественного порядка и явного неуважения к обществу, не должно квалифицироваться по 206-й статье УК РСФСР, а по соответствующим статьям УК РСФСР, предусматривающим ответственность за эти действия".

станциями, не имеющие права жаловаться, неведомые прокурору — они-то кто? Насколько они виноваты? Да и виноваты ли вообще? Кто это и как это выяснит? А выяснить это нужно во что бы то ни стало и даже не из-за человечности, а во имя борьбы с тем же хулиганством — и мелким, и крупным и самым-самым крупным, граничащим с убийством и бандитизмом.

Потому что Указ от 19 декабря, по которому я и сижу, это установление совершенно особого рода.

Почему? А вот почему — из всех возможных целей наказания (кара, предупреждение новых преступлений, влияние на других членов общества) Указ больше всего (а может быть и исключительно) преследует одну главную — “перевоспитание осужденных... в духе уважения к правилам социалистического общества”, то есть Указ — это обращение, апелляция к сознанию самих осужденных. “И сделайте из этого для себя выводы”, как сказала мне Кочетова. Но какие же я выводы могу для себя сделать, если я судью не уважаю, нарушений не совершил и право на свое перевоспитание за этими лицами, увидев, как они действуют, не признаю. Ведь о моей изоляции дело не идет, я вернусь в ту же квартиру, из которой меня увели, к тем людям, которые на меня “доказали”. Я стану к тому же станку или к той же плите, у которых стоял до этого. Буду жить с той же женой — так как я буду жить? С чем я вернусь? Что я понял и что не понял. Какие сдвиги во мне произошли? Ведь вот самые главные вопросы. И ответы на них получаются самые противоположные — в зависимости от существа дела, суда и следствия. Получил очень много, если понял, что поделом была во-ру мука, все — если по одну сторону судейского стола сидел закон, а по другую стоял я — нарушитель. А если все не так, если нарушитель сидел именно за судейским столом, если я считаю правым себя, а не его? Для какого дьявола тогда все эти мили-цейские рапорты с их дежурными формулами, издевательские разговоры в дежурке, суд, который не судит, а только осужда-ет, судья, который не спрашивает, а телефонничает да вписыва-ет сутки — пять, десять, пятнадцать? Если после такого суда я потеряю уважение к суду и к закону вообще, то чем это может быть искуплено? И не заболею ли я тогда тем самым скепти-цизмом, тем “неверием”, которые все мы считаем какой-то непонятной нам до конца болезнью молодежи? Задумывалась ли судья Кочетова когда-нибудь над этим вопросом? Приходили ли ей эти вопросы вообще в голову? Во всяком случае, могу сказать с полной определенностью, что в той камере Красно-пресненской пересылки, где я находился, никто ни во что не ве-

рил, и никто ничего не уважал. И еще, вспоминая прошлое, я думаю: опасность кампании в том, что она творец видимостей. Она создает видимость борьбы, видимость преступления, зависимость служебного героизма и в заключение призрака победы (ох, как потом за него приходится дорого расплачиваться!). Под конец же она превращается в сбесившегося робота, который уже не подвластен никакому контролю — или еще проще — раковую опухоль, которой дано только расти и расти, разрушая все вокруг. Так было в те годы, которые я уже поминал — тогда спрос поистине рожал предложение, и понятно почему, а сейчас как? Вот в этих делах о мелком хулиганстве?

Наступает ночь. Камера затихает: я лежу и размышляю о своем счастье (не о судьбе — что об ней сейчас думать? а именно о счастье). Очень мне уж не везет в столкновениях с нашей юстицией. Я написал антирасистский роман и был осужден за расизм (сейчас роман издан).

Я заключил договор на перевод, сделал его, сдал в редакцию, — и судья Милютина осудила меня за то, что я не сделал перевод и не сдал в редакцию (а сейчас он печатается).

Я спрятал женщину от хулиганов, — и меня осудили за хулиганство (а хулиганами даже не заинтересовались). И это не были запутанные дела, — нет, все было ясно, явно все с самого начала говорило в мою пользу: и логика и свидетели, и документы и все равно я был осужден. Таково уж мое счастье. Я вечно кого-то раздражаю и не устраиваю. Или беда нашей судебной практики? То, что она уж слишком многих устраивает и слишком мало боится раздражить? И тут я вспомнил о "полканах".

В 1949 году нас пригнали в Тайшет. Около палатки нас встретил старший дневальный — старый заслуженный вор. Мы шли, а он стоял и смотрел на нас.

— Ну что, полканы, пригнали вас? — спросил он меня. — Тут уж вам хана!

— Почему мы полканы? — спросил я.

Он фыркнул:

— А кто же вы? Волки! Нет, это кто-то с маслом в голове вас сдал за волков. Ну, вот ты — обратился он к моему соседу, — за что ты сидишь? Вредитель? Божественник? Это был профессор Эрест — высокий худой старик — астматик. Он скинул мешок на снег и стоял перед вором вытянувшись.

— Я шпион, — ответил он серьезно.

— Ну вот, немецкий шпион, — радостно подхватил вор, — еще двоих таких, как ты, и орден следователю! Эх, вы, полканы, собачьи ваши шкурки.

И он отошел, а через минуту мы услышали его крик — он кого-то бил и тащил с нар.

— Я вор! — гордо орал он. — Я человек! Я воровал и сел! А ты кто? А ты за что? Ах, ты не за что?! Ну и засохни, пока не стащут в столярку (в столярке стояли гробы). Вон иди к параше. Дай место людям! Безвинный!

Да, страшное дело сидеть в лагере за ничто — понял я тогда. А утром мне профессор Эрист — искусствовед и археолог — объяснил все по пальцам.

— Вот, скажем, дорогой мой, какую-то деревушку одолели волки. И столько их развелось, что за каждую голову власть положила по сотне. А пришел в контору мужичок-серячок: увидел, что там сидит жулик, возвратился в избу, снял с гвоздя ружье: "Полкан, Полкан". Пиф-паф, голову долой и: "Вот, Ваше степенство, волчок-с, пожалуйста премию-с"

— Спрашивается, — и тут профессор Эрист загнул первый палец, — много ли будет побито волков?

Он загнул второй:

— Много ли останется в живых жучек?

Загнул третий.

— Много ли в селе появятся настоящих охотников или те, что были охотниками, превратятся в гицелей?*

Он показал мне кулак и спросил:

— Ясно?

— Ясно, — ответил я.

Этот разговор я потом вспоминал не раз, когда встречался на улицах со своими бывшими товарищами: все диверсанты, шпионы-террористы, агенты иностранных разведок либо получали пенсии, либо были реабилитированы посмертно (иногда даже с некрологами). Это все были полканы! Временно исполняющие обязанности волков!

(Не могу забыть только один случай, хотя формально тут он ни к чему. Во время моих долгих и тягучих хождений по мукам, я почти всегда встречал одну женщину. Мы с ней часами сидели в коридоре — я просто засматривался на нее: такое у нее было замкнутое спокойное, холодное лицо. Я еще суетился, советовался с кем-то, что-то там строчил; она сидела молча. И вот раз я встретил ее у входа. Она шла развинченная, пошатывалась, лицо у нее было мокрое, но она улыбалась. "Поздравьте меня, — сказала она счастливо. — Все! Муж реабилитирован посмертно!")

* Собачников — тех, что с собак шкуры дерут.

А что случилось с волками? А почитайте-ка их заграничные мемуары.

Такова вторая беда карательных кампаний: еще полбеды, что невинные гибнут, но вот что с врагом-то делать? Ведь для них нет времени более благоприятного, чем такая пора — пора взбаламученного моря. Работать "в мутной воде" — ведь это мечта всех преступников. "Выявлять, пресекать, хватать, судить, да нет, что там, судить? И милиции хватит — верещат газеты,— мягки законы, малы сроки, недостаточны санкции. — Давай, давай, давай! Товарищи домохозяйки, на вас вся надежда. Бдите, заявляйте, пишите! Товарищи соседи..." И вот уже все, что не нравится обывателю в квартирных склоках, начинает называться — вредительством, агитацией (в 1938), антиидейностью (1946), космополитизмом (1949), тунеядством (в 1962), хулиганством (в 1966)*.

В истории советской литературы был такой печальный случай: один великий русский поэт дал пощечину крупному писателю — публично. Демонстративно. Нарушая порядок в учреждении. Что было бы с ним сейчас при нашей судебной практике? Конечно, он предстал бы тотчас перед той же Кочетовой, и она спросила бы его: "Как? Поэт? Мендельштам? Осип Мендельштам? Никогда не слышала?.. Маяковский, Есенин — этих да! Ну вот вам десять суток и сделайте для себя выводы". Обязательно она так бы сказала ему.

Писатель моих лет дал в морду молодому наглецу, который обозвал его старой сволочью. (Почему он долго занимал телефонную кабину). Собралась общественность. Старика и парня доставили в милицию. К счастью это было год тому назад, и дежурный тоже попался правильный, но сейчас бы все было бы иначе и на одного старого, но мелкого хулигана в Москве стало бы больше. А кто от этого выиграл бы? Советское общество? Моральный кодекс? Краснопресненская пересылка? Выиграла бы, конечно, оперативная сводка, та страшная черная галочка, которая вечно сопровождает такие кампании и орет на весь Союз о победе над преступностью! Выиграл бы самый плохой человек из всех — мелкий хлесткий фельетонист — судья, осуждающий без суда и следствия**

* В соответствии с этим хочется припомнить: в 1936 году был выписан ордер на арест Домбровского — русского. В 1939 — Домбровского — поляка, в 1949 — Домбровского — еврея, а в приговоре всегда стояла уже настоящая национальность.

** "Нигде в мире ни один журнал, ни одна газета не осмеливалась бы публично навязывать свои приговоры по делу, которое еще только будет

Итак, вот основные беды нынешней кампании.

1. Отсутствие судебного и надзорного контроля над органами порядка. Это дает возможность выдавать за мелкое хулиганство все, что угодно, — любую неприязнь, ссору, столкновение. Это условие, при котором легко сводить личные счеы и выживать соседа. Это практика доносов и петиций. Это суд коммунальной кухни и лестничной клетки, которая называет себя общественностью. (Вот оно "давай, давай!")

2. Расширительное толкование законов: оно возвращает нас к юридическим теориям Вышинского, к объективному вменению к осуждению по аналогии.

Пример тому — дело о тунеядцах. Все о тунеядцах. Все мы помним печальное дело Бродского. Печальное, хотя бы по последствиям, для всех нас, по резонансу, которое оно вызвало в мире. Не очень давно в "Известиях" писали о высылке из Москвы такой тунеядки: дочь по уговору сестер и братьев ушла с работы, чтобы ухаживать за умирающей матерью (рак). Кроме этих двух пожилых женщин — умирающей и ухаживающей — в квартире никого не было. И вот все-таки одну из них оторвали от смертного одра другой и угнали в Сибирь, а эту другую оставили умирать. Прокурорского протеста не было. "Каждый умирает в одиночку" — вот наверно мораль прокурора. И совсем недавно в "Литературной газете" появился любопытный материал. "Общественность" какого-то дома требовала высылки нескольких соседей: образ жизни их, их интересы, их знакомства не помещались в сферу понимания этих соседей. То же формальное затруднение, что тунеядцы эти каждое утро вскакивают в восемь часов и несутся на службу, они обошли с гениальной легкостью. Одна старая общественница (вот уж, поистине, "зловещая старуха"), вывела такую формулу: "Они работой маскируют свое тунеядство". И для кого-то, восседающего за столом какого-то Президиума, это показалось вполне убедительным. Вероятно он был просто раздавлен железной логикой: "Тунеядство скрываемое..." А вот общественность выявила, разглядела! От нее не скроешься!

И еще хуже: какой-то кандидат в массовой брошюре, втолковывает читателю, что тунеядец, это не тот, который вообще не работает, а тот, кто хочет мало работать, а получать много. Логическое ударение, конечно, на глаголе "хочет" — он хочет получать много. Но ведь под эту научную форму можно

рассматриваться судом и которое им самим известно только по слухам и сплетням" — так писал секретарь Верховного Уголовного суда Есипович в 1864 году!

подогнать кого угодно. Даже Федина и Фадеева! Ведь обыватель так про нас и говорит — ”не захотел ты кирпичи таскать — стал ты бумагу марать”.

Об Указе о туеядстве, о преступлении странном, ускользающем от определения, не только не вошедшем в Кодекс, но и просто не упоминаемом в нем (все-таки слава нашим кодификаторам — они не преступили этот рубеж), стоило бы поговорить отдельно. И, конечно, такой разговор обязательно состоится в самом недалеком будущем. Но сейчас я пишу как раз не об этом. Сейчас я пишу о том, что вполне ясное криминалистическое понятие проступка, имеющего четко ограниченные юридические грани снова на наших глазах превращается в какую-то туманность. Все неблагоприятное, с чем надлежит бороться, предлагают окрестить хулиганством и дать право любому тащить в милицию обидчика. Не считаясь с обиженным. Повторяю — *любому!* Вот что не только страшно, но и примечательно. Да разве любой может знать что к чему? Разве я могу объяснить любому, почему я поссорился, скажем, с родственником, с другом, с женой. А ведь он требует этого объяснения. Он в комнату мою лезет и милиционера с собой ведет — я начинаю их гнать, а милиционер уже самописку вынул. ”Молчите, — вот свидетель, что вас обидели!” ”Да позвольте, — говорю я, — обидел, не обидел, это мое дело. Кто вас уполномочил быть щепетильным за мой счет. Оставьте нас обоих в покое”. А дежурный (уже дежурный и уже в отделении) мне отвечает:

”Нет, не оставим. Докажите нам сначала, что вы не трус, а гордый советский человек. А вдруг вы сукин сын? Тогда мы обязаны — государство и общественность — вас защитить. Мы тебя, дорогой товарищ, научим ”свободу любить”. Мы привьем тебе чувство собственного достоинства. Воспитаем в духе нашего морального кодекса. Ах, вы недовольны! Ах, за вас заступаются, а вы еще недовольны?! А ну-ка, покиньте помещение. Освободите, освободите помещение, говорю вам. Повышаете голос? Ну, тогда пройдемте”. И протокол: ”Будучи доставленным в отделение милиции в ответ на вопрос дежурного о случившемся гражданин (фамилия, имя, отчество) позволил себе... Выразался... по адресу (чин, фамилия)... Оскорблял... Грозил... Говорил, что он...” Подпись общественности. Рапорт милиции. Решение судьи — все! Сидите оба!

Товарищи, да ведь это то самое, что Ленин называл: ”Вогнать в рай дубиной”. Даже такое опаснейшее преступление, предусматривающее смертную казнь, как изнасилование *во всех странах* возбуждается исключительно по иску потерпевшей, а здесь любой, услышав шум за стеной, может тащить ме-

ня в милицию. И не как обидчика, а как обиженного. Вот до чего дошла наша чуткость и любовь к человеку. Воистину "Боже, избави меня от друзей..."

3. Третья особенность и беда таких дел заключается в упрощении судебной процедуры. Ведь, по существу, нет ни одной судебной гарантии, к помощи которой мог бы прибегнуть арестованный или уже осужденный. В делах о мелком хулиганстве нет ни презумпции невиновности, ни права кассации, ни обязательного ознакомления с делом. А так как фактически они выведены из-под прокурорского надзора, то и бремя доказательств ложится на плечи обвиняемого. То есть никаких обязательств у судьи Кочетовой передо мной, подсудимым, нет. И мотивированного приговора тоже нет — все заменяет печатный бланк. Вот как я уже писал: "Расскажите, как дело было! А впрочем, чего там рассказывать, садитесь и ждите конвоя, следующий!" Вероятно, в принципе возражать против упрощенности суда по делам мелким и повседневным не приходится — но учитывать ее надо обязательно. Ведь здесь суд не только самая первая, но и самая последняя инстанция. Поэтому она не столько суд, сколько совесть, честь. Культура суда должна быть исключительно чиста и высока именно по этим делам. А ведь каждый судебный работник знает, какая беда ожесточить человека, поселить в нем неверие и безнадежность и наплеватьство.

Я хочу упомянуть об одном очень тяжелом факте моей биографии. Мне как-то очень долго — лет 6 — пришлось пробыть среди власовцев — не среди жертв — хотя, вообще-то жертв было больше, — а так сказать среди "волков". Это были очень страшные и закаленные в ненависти люди. Целеустремленные и непримиримые. Так вот, добрая половина из них в доверительных разговорах со мной, когда я спрашивал их о том, что же они думали, когда шли с Гитлером или участвовали в том-то и том-то, рассказывали мне о чем-то совершенно подобном — о таких же судах и следствиях. И абсолютно не обязательно, чтоб это были суды уголовные, с тяжкими санкциями — нет, это могло быть простое школьное собрание, собрание актива и общественности, колхозное собрание, милицейский протокол и многое-многое другое. Важно было одно: и это они подчеркивали всегда, — первая трещина в сознании появлялась не от вражеского удара, а от пощечины, от плевка, от отсутствия государственной совести.

Оговариваюсь опять и сейчас же — конечно, не одно это было причиной их тяжелой моральной катастрофы, но ведь одной причины в таких случаях никогда, как известно, не бы-

вает. Есть ряд причин, есть система причин. Совершите над человеком одну несправедливость, большую, циничную, несмысливаемую, — и иной чуть не с мазохистским удовольствием будет замечать, коллекционировать и сам вызывать на себя удары. Ему нужно обязательно укрепить в своем сознании эту зудящую идею-фикс — все плохо, все ложь. Все как есть. Вот так было и в том случае, о котором я рассказываю. И знаете, кто тогда "поддакивал"? Бывший прокурор города, бывший следственный работник, бывший судья. Эти-то уже были абсолютными атеистами. Они все грома выдывали собственными руками и уж ровно ни во что божественное не верили. Я не провожу, понятно, аналогию. Но скажите, во что верят те блюстители закона и порядка, которые называют известную женщину неизвестной, вписывают дежурную формулу о нецензурных выражениях и вообще ведут разговоры в таком духе: "убивают — пусть убивают, сташим за ноги и похороним! Бьют? Мало тебя, сука, бьют, тебя давно убить нужно!"

Осуждение само по себе — тяжелое наказание, его можно выносить только обоснованно, оно должно доходить до сознания нарушителя. И по этой, конечно, цели должны равняться все: милиция, суд, прокуратура, тюрьма. Если они не уяснили себе этого, пользы от наказания никакой. А у нас чаще всего этого никто не понимает. И вот чего я боюсь еще — не появилось ли у нас в юстиции уже то, что хирурги называют "привычным вывихом"? Коленная чашечка времени вывихнута из своего сустава," — сказал Гамлет Горацию по поводу таких случаев.

Район — сеть переулков, — в котором я живу, узкий, темный и страшноватый. Это Сретенка и Цветной бульвар. У этого района издавна плохая слава. (Помните Чехова "и как двое стыдно снегу падать в этот переулок!"). Это про нас.) Скандалы и драки вспыхивают тут с темнотой почти ежедневно. Но попробуйте отыскать милицию — где там! По-человечески это понятно: у хулиганов и ножи, и свинчатки, и еще всякие игрушки, и живут они по соседству: да и вообще мало ли бывает соображений у человека — не лезть на нож! Чувство долга? Но план выполняется и перевыполняется — рапорты-то — вот они. Ради них всех запечных тараканов подобрали. Совесть? Но ведь она, знаете, сговорчивая, доступная к убеждениям. Судья? Но этот рыцарь не только без страха, но и воистину без сомнения — он припечатает все, что ему подsunут. А между тем, если двое получили одинаковое наказание, но один за дело, другой за так, или за мелочь — уважения к закону не останется ни у того, ни у этого. И когда они повстречаются на нарах, то — повторяю еще раз — неловко будет себя чувствовать именно невиновный. И

камера "грохотать" будет только над невиновным. "Я-то знаю, за что сижу", — в тюрьме это очень гордые слова. Они всегда бросаются в лицо "фан фаньчам" и "Сидорам Поликарповичам"... А бритая голова... ну, что ж, она тоже под конец станет модой и бравадой. Хулиганы — люди с фантазией. Они стилиаги. Бритая голова скоро будет тем же, что и сердце на руке или голая баба у причинного места "человека".

Наконец уже утро. Вот сидим на нарах и обсуждаем все это. Нас трое: один — студент, другой — инженер, и третий — я. Нас объединило то, что мы все считаем себя попавшими за зря (оно и вправду так, в камере только два человека признавали себя виновными). Сначала над нами попросту "грохотали" — нашли о чем рассуждать — о правде, ("А ты ее видел когда-нибудь? Ну, какая она? — расскажи"), о законе ("закон стоит 27 копеек и заперт у судьи в шкафу"). Тут я вспоминаю опять 49 год. "Вот где твоя конституция, — сказал мне следователь Харкин и подергал ящик стола — он был заперт, — Видишь? Иной для тебя нет", так вот, сначала смеялись, шикали, даже покрикивали совершенно по-лагерному (и здесь есть "люди"). — "А ну, кончай баланду". А потом все-таки прислушались, кое-что из молодых стал вздыхать: "конечно, батя, вы вон там сколько просидели, вы все обдумали. Вы если и неправду нам скажете, то разве мы поймем". А под конец стали кое с чем и соглашаться.

— Да ведь это хулиганье самое, самое зло, — сказал мне один парень лет тридцати. — Вот у меня шурина ночью шилом ткнули в поясницу — так какой теперь из него мужик? Лежит без ног. И жена ему ни при чем.

— А сидишь ты, — засмеялся кто-то.

И он с горечью ответил:

— Так мне и поделом, дураку, знаю я, кто это сделал, знаю, а вот не пошел, побоялся. Таких не больно трогают. Возьмут и выпустят. А он каждый день мимо меня проходит и усмехается.

Что ему ответили, я не помню, потому что припадок накрыл меня внезапно. Я вдруг почувствовал, что доски плывут, потом, что сердце у меня раздалось, поднялось и вот-вот выпрыгнет через горло. Я закричал и будто подавился криком.

Сколько времени прошло, опять-таки не знаю, но очнулся я снова от крика, но уже не своего. Орал молодой парень, студент, тот самый, с которым мы только что толковали. Он стоял на нарах и потрясал кулаками.

— Тут автомат нужен, автомат нужен, — кричал он. — Больше ничем тут не сделаешь. Что толковать попусту.

Я открыл глаза и приподнялся. Мне дали руку — и я сел. Он сразу замолк и наклонился надо мной.

— Ну что, батя? — спросил он заботливо и тихо.

— Ты не базарь, — сказал я. — Тоже автоматчик мне нашелся. Тут есть какая-нибудь сестра?

— Уже позвали, — сказал он быстро. — Побежали за каплями. Сейчас, батя, придет. Вы лягте.

Сестра пришла и капли принесла. Это была обыкновенная валерьянка и больше ничего. Я выпил и лег. Очень болели ребра — и я догадался, что это мне делали искусственное дыхание: один разводил руки, другой ставил коленку на грудь и давил. Я эту операцию знаю и уважаю. Когда-то она была нашей единственной скорой помощью, но в моем-то положении она, пожалуй, мне ни к чему.

— Вот что, ребята, — сказал я. — Если мне опять станет плохо, вы мне больше грудь не ломайте, а то вы меня совсем доканаете. Вы сразу зовите врача.

А сам соображаю, — вот если бы мне на полчаса выйти на улицу, хотя бы с лопатой, может я и отдышался бы. Но знаю: не возьмут, уж больно я сейчас дохлый. Коридорный мне утром так и сказал — "Куда нам такого, лежи! Нам и нужно-то двоих — хлеб раздавать по камерам".

Ночь я провожу очень тревожно, но днем прихожу в себя полностью, лежу и думаю: "Ладно, оклемаюсь, выдержу". Мне обязательно хочется выдержать. Скоро ли дождешься вновь такой творческой командировки? А мне ее так не хватало. Я ведь пишу роман о праве. Но припадок опять накатил внезапно и уж совсем по-новому — просто выключилось сознание, перегорело как лампочка — и все. Память после этого возвращалась ко мне только трижды, толчками: первый раз, когда камера ломала дверь, стучала, пинала ногами и вопила. Второй раз, когда надо мной наклонился тюремный врач, и я отвечал на ее вопросы. Что отвечал — не помню. Помню только, как она требовала: "Больной, откройте глаза! Больной, почему вы все время закрываете глаза?" А мне просто было больно смотреть. До лототы резал противный желтый свет. Затем носилки, скорая помощь, два белых парня по бокам и больница. В больнице тоже не то полубред, не то полусон, а если явь, то какая-то очень мутная. Так мне представляется, что я очень долго разговариваю с какой-то молодой женщиной в белом халате, отвечаю на ее вопросы и сам рассказываю обо всем, что со мной случилось. Женщину эту я увидел на другой день. Оказалось, она врач нашей палаты и в этот вечер как раз дежурила. Но говорить я с ней все-таки вряд ли говорил, потому что была ночь и полутьма,

и все спали. Так что скорее всего это, правда, был бред. Хотя, кто его знает? Может и говорили. Тема эта волнует каждого, а врача тем более. Ведь историю с двумя врачами, которых из милиции пришлось отправить на скорой помощи в больницу Склифасовского, рассказывали мне именно врачи и сестры.

Наутро больные снабжают меня двумя копейками, и я, несмотря на строжайший запрет, встаю и пробираюсь к автомату. На другой день ко мне начинают приходить друзья. Обрадовать меня им нечем. Оказывается, они уже побывали у районного прокурора и тот затребовал мое дело, просмотрел и мрачно усмехнулся. "Пусть он сидит и молчит, — сказал он. — Ему и прибавить еще нужно. Я и прибавлю если кто-нибудь попросит".

"Я не вижу никаких оснований для вынесения протеста", — сказал он другому. Вот это для меня абсолютно непостижимо. Именно с прокурорской точки зрения непостижимо. Ведь я в двух объяснительных записках (хотя, я сознаю, написанных скверным почерком) сообщал:

1) О том, что я спрятал у себя избитую и порезанную женщину, что она была окрававлена и просила помощи, что преступники — картежная шайка, засевшая у нее в ту минуту, когда меня уводили, сидели в подвале.

2) Что женщина эта совершенно облыжно названа неизвестной, ее знает весь наш дом и все 18-е отделение милиции. (А если не знали, почему не интересовались, кто она).

Разве не нуждались эти мои показания в проверке и вызове хотя бы этой свидетельницы.

3) При всем с начала до конца присутствовал мой товарищ. Он вместе со мной подписал мои объяснения. Больше сделать ему ничего не дали. Я заявлял об этом и милиции и суду. У судьи, положим, был плохой слух. Но как пренебрег этим прокурор? Ведь он отлично знает, что в Указе от 19 декабря есть такое указание:

"Материалы о мелком хулиганстве рассматриваются нарсудом единолично с вызовом... в необходимых случаях свидетелей", — так разве это не был тот самый необходимый случай? Пусть судья не обратил внимания на то, что я говорил. Но как прокурор-то мог пройти мимо всего этого? Впрочем...

— Этот человек просидел 25 лет, — сказал прокурору один из моих товарищей.

— Ну что ж, — резонно ответил его помощник. — За это перед ним ведь извинились.

Боже мой, как все просто и ясно для человека, если он прокурор!

Но вот что могло и даже должно было остановить внима-

ние прокурора — это донос. Тот самый, о котором я уже упоминал. Я сознаю, донос слово очень плохое и даже ругательное, но в данном случае я употребляю его просто как технический термин. В самом деле, как можно назвать заявление соседа о соседе, которое кончается так: "Никаких литературных и творческих разговоров Домбровский со своими гостями, как знают жильцы, никогда не ведет". А какие же он ведет? Ведь чтобы написать эдакое, надо постоять под дверью и не один раз, а многократно. Надо подслушивать, вникать, запоминать, записывать. Отвечать на это, прости господи, "обвинение" мне просто не хочется. (У меня бывал не однажды Ю. Олеша, С. Злобин, С. Антонов, Ю. Казаков, И. Лихачев, С. Наровчатов, Ю. Арбат, С. Марков, С. Смирнов, С. Муханов, Шашкин — этих двоих я переводил. В этой комнате я написал и несколько раз читал вслух своим гостям с начала до конца "Хранителя древностей", читал по главам и тот роман, над которым я сейчас работаю вот уже третий год. Были у меня и иностранцы, и мои переводчики, и профессора — так что эта фраза, прежде всего, характеризует самого доносчика. Это кажется Чехов сказал: "Высшее образование развивает все способности, в том числе и глупость").

Очень интересна и следующая фраза: "У Домбровского бывала гражданка, высланная из Москвы за тунеядство. Она несколько раз из места высылки просила послать ей денег, но Домбровский, боясь общественности, ничего не посылал".

Тут он с запарки преувеличил, конечно, не только мою трусость, но и мою невиновность. Посылать я посылал, и не раз, об этом можно спросить ее, она вернулась. Но ведь значит, что и до моей переписки, до запечатанных писем доходили шустрые руки какого-то правдолюбца или любителя литературных бесед. В общем, никакими иными словами, кроме доноса, это произведение не назовешь. Оно и составлено согласно всем канонам этого вида литературы ("Хранить вечно" — пишется о них на папках). Это еще не само показание, а только творческая заявка на чью-то голову. В этом такая железная логика: "Я располагаю". Вот мой товар. Смотрите. Оценивайте. Вызовите — я покажу. Что вам надо, то я и покажу. Как скажете писать — так и напишу. Недоразумений не будет".

Оперативники моего времени обожали и уважали именно такую форму заявок. Сразу видно скромного и дисциплинированного человека. С таким можно делать дела.

О литературе не говорит — так о чем же? Подробно, подробно, не торопясь, с примерами — кого ругает, кого хвалит, что говорит?

Или вот например:

”Домбровский часто отдает свою комнату приезжим из других городов”.

Боже мой, да в этой фразе целое богатство! Сколько узоров здесь можно вышить: пускает на квартиру спекулянтов (колхозный рынок рядом), укрывает беспаспортных, заводит притон разврата, живет на нетрудовой доход, спекулирует площадью и т.д., и т.д. Почему же прокурор не заинтересовался, не проверил хоть это обвинение — не узнал, кого же я пускал? Для чего?

Еще обвинение: ”Однажды привел к себе в комнату неизвестного мужчину, который и жил у него три дня”.

Жил он у меня, положим, не три дня, а всего провел одну ночь, но, кажется, на том свете мне за эту ночь многое простится. В декабре или январе я подобрал на нижней площадке нашей лестницы мужчину. Он лежал раскинув руки, на нем был легкий плащ, и мне показалось, он даже и не дышит. Потом я понял, что он страшно, патологически пьян. Что оставалось делать? Мороз был дикий, трескучий. На плечах я его дотащил до третьего этажа. Он не издавал ни звука. Я положил его на диван. Сам лег на полу. С половины ночи он начал бредить и просыпаться. Утром поил чаем. Часов в пять он смог пойти домой. Оказалось, что это один из следственных работников прокуратуры. Была, как говорится, ”семейная драма”. Он поругался с женой, стукнул дверь и ушел. Взял все деньги, напился в ресторане. Часов в одиннадцать его выставили. Не подвернись случайно я, он, конечно, отморозил бы себе легкие (и выпотрошили бы его еще за милую душу — деньги почему-то все оказались при нем). Но как на меня накнулись утром, когда узнали, что я кого-то привел с парадного: ”Писатель, а такой дурак”, — сказали мне. ”Да ведь он бы замерз”, — сказал им я. ”И черт с ним, — ответили мне. — Пусть пьет меньше”. Ну, дорогие женщины, — ответил я. — Если бы это случилось с вашим мужем, вы бы, конечно, сказали ему, когда бы он проспался — хорошо, что еще нашелся один умный человек, а то так бы и издох ты на лестнице”. С этим как-будто бы и согласились, но как я уже говорил — чужая жизнь в нашей квартире и в грош не ценится.

Что писать обо всем остальном? Донос создавала опытная и, сразу видно, натренированная в таких делах рука. Ни одного конкретного обвинения, все туманные формулы и многозначительные подмигивающие фразы, но смысл — крик души старого доносчика. ”Да заинтересуйтесь же! Я располагаю. Недоразумений не будет — сговоримся”.

А вообще-то такая бумажка хранится про запас. Для нового дела. Ну хотя бы как характеристика. Могу поручиться:

мой следующий, шестой, следовательно эту бумажку будет ценить на вес золота. И никакие отводы тут не помогут. Она есть! Все!

Но неужели прокурор не понял, что такое подшито к делу? Неужели у него не возникло желание поговорить со мной, спросить, что все это значит, хотя бы просто поглядеть: что я за злодей. Ведь не так уж часто в нашей стране писателя сажают за хулиганство. Неужели для него моя личность была ему ясна при одном перебрасывании листов дела, а моя просьба о вызове свидетелей, рассказ о том, как резали женщину, он счел незаслуживающим внимания. Что-то плохо представляю я себе таких прокуроров! Неужели с хулиганством можно бороться таким образом?

Я хотел написать о судьбе Милютиной, но теперь, подходя к концу моей докладной, вижу, что это дело особое и говорить о нем надо тоже особо. В одной строчке я уже сказал, в чем его суть — это всецело гражданский процесс. А коротко дело в том, что судья Милютина присудила меня к выплате аванса и возмещению убытка за изготовление подстрочника, потому что я как-будто бы не выполнил договор и не представил русский текст того романа, который был обязан перевести.

А между тем договор я выполнил, роман перевел и сдал рукопись в издательство. Вот расписки у секретаря отдела только не взял. Но ведь никто и никогда из писателей таких расписок не берет. Я представил все доказательства этого вплоть до заявления автора (того самого Шашкина, о котором я уже упомянул). Сдача рукописи происходила при нем. Я требовал выписки из книги учета договорных рукописей, приобщения писем, приобщения этого свидетельства автора. Ни одно мое ходатайство Милютина не удовлетворила. Книга сейчас издается. В общем, история сверх безобразная, но сейчас меня интересует совсем другое. Я думаю о том радостном возгласе милиционера: "Домбровский, ты знаешь Милютину? Ну, получишь 10 суток, поздравляю". Но ведь Милютина моего дела не знала, со мной не говорила, меня не судила. И все-таки предсказание милиционера сбылось с астрономической точностью. Значит на Кочетову я, пожалуй, зря и сержусь. Я был осужден до разговора с ней и Милютиной. Просто, вероятно, она позвонила по телефону и сказала: "А дай-ка ему столько-то". И все это делается открыто, на виду, не таясь, что тут таить? Милиционер человек, а Домбровский и не человек даже, а подсудимый. Что с ним ни сделают, все будет хорошо. Решение выносится без свидетелей, без обжалования. Что и с кого здесь он потребует?!

Товарищи писатели, дорогие коллеги мои, мне кажется, что нетерпимость всего этого переходит уже всякие рамки. Будет плохо, если мы и тут смолчим. Мы же писатели, и с нас спросят справедливее, суровее и больше, чем с кого-либо. Мы должны быть готовы к этому ответу. Я понял это особенно четко, когда прочел письмо одного читателя, опубликованное в "Казахстанской правде". Вот что пишет некий электротехник Г.Володин автору фельетона "Мужчины с неразборчивыми фамилиями" В.Костиной (в этом фельетоне мужчины обвиняются в том, что в уличных стычках они не всегда проявляют достаточно храбрости. Боятся хулиганов. Не защищают женщин. Совершенно справедливо. Бегут мужчины от греха подальше. Но ведь, товарищи, прав и автор:

"Если бы вы были мужчиной, то и не иронизировали бы над мужским достоинством, ибо оно уже давно задушено там, где "пьяные мозгляки", терроризирующие окружающих, остаются пострадавшими, а благородные поступки честных мужчин, направленные даже на защиту "слабого пола", наказуются со всей строгостью закона... Поставить вопрос о некоторых несправедливостях в законодательстве вы побоялись" (№ 126, от 26 июня).

Это грубо, конечно, но это правильно. Я испытал это на своей шкуре и по мере своих сил и способностей изложил как это вышло. Надо бороться с хулиганством, это безотложная наша задача, но голова и тут нужна, и честность тоже. Нельзя давать милиции или суду скрываться за колонками статистических сводок. Надо ловить преступников, а не тащить за шиворот обывателей. Каждое несправедливое осуждение не только покрывает собой невыявленного преступника, но и родит еще нового, уже не верящего ни во что, и скоро мы задохнемся от открытого дневного бандитизма. Ведь это не шутка, что в Иркутске за последние годы, а ведь это были годы "борьбы", детская преступность увеличилась, по милицейским данным, в восемь, а по судебным, в шесть раз. Шестьсот и восемьсот процентов — что у нас растет так?

В Алма-Ате преступность выросла на 300%. Две тысячи четыреста дел на учащихся средних школ, заведенных только в одном городе. В статистике преступлений только четыре процента приходится на сельские местности, девяносто шесть процентов составляет город. Подумайте об этом, товарищи.

Я написал о себе, но совсем, совсем неважно, что это случилось со мной. Я в конце концов не умер. Вот сижу и печатаю эту записку, а болезни, что нашли у меня, верно уже были давно (вот тут, кажется, я немного покривил душой перед судьей

Кочетовой) — только я их не замечал. В общем все это пустяки. Важно другое. Настоящее хулиганство — страшный враг (потому что оно уже и не хулиганство, если оно настоящее), и с ним надо бороться — но бороться осознанно, планомерно, умело, законно — не толчками и спазмами. Бороться, уничтожая преступления, но не рождая преступника. Совесть — орудие производства судьи. Это основное. А наши столы: кухонные, милицейские, судебные, часто только и делают, что поставляют преступников. В римском праве была статья, карающая "за оскорбление величия народа". За это полагалась смерть. (Потом, правда, в 15 году до Р.Х. величие народа перенесли на Вождя народа (Тиберию) и почил республика — началась империя.)

Есть ли в нашем законодательстве что-то подобное по отношению к Закону? За его профанацию? За его умаление? За обман? За собак, сданных вместо волков? За волков, выданных за собак и оставленных на воле? Думает ли кто в нашей стране о культуре суда? Вот о чем я хотел бы спросить наши органы — судебные, следственные, административные и общественные. За разрешением этого вопроса я и обращаюсь к вам, товарищи писатели. А примеров, кроме мной приведенных здесь, вы и сами знаете достаточно!

С благодарностью за внимание

Юрий Долгуновский

АЦИЯ? ■ ■ ■ ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ? ■ ■ ■ ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ?

ЭМИГРАЦИЯ? ■ ■ ■ ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ?

ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ?

— в духовном, социальном
и психологических аспектах?

Журнал "Синтаксис" намерен
один из ближайших номеров
посвятить этой теме.

Приглашаем всех желающих
принять участие в ее обсуждении.



ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ? ■ ■ ■ ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ?

ЭМИГРАЦИЯ? ■ ■ ■ ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ?

ЧЕТЫРЕ СТАТЬИ

ОТ АВТОРА: Статьи образуют естественную последовательность: Пушкин, Неуверенность, Инакомыслие,* Видь и внемли.

Неверующий автор придает важное значение тому, чтобы слово "бог" писалось с малой буквы. В старой России никогда не писали с большой буквы других богов, кроме христианского. Автор же не верует ни в какого.

ВИЖДЬ И ВНЕМЛИ

Александр Солженицын — странная фигура в нынешнем мире. Его считают чем-то вроде пророка, да и сам он, кажется, уверовал в свое пророческое призвание. Наше время тоже производит мифы, в меру своих духовных сил. И вот на наших глазах рождается еще один миф двадцатого века.

Все мы помним, как бог взывает к своему пророку. Бог велит пророку видеть и слышать, и пророк внимает всем движениям бытия. Но мыслить бог ему не велит, потому что мыслить пророку не надо. Ведь он простое орудие вселившейся в него воли, собственная же воля его, пожалуй, менее свободна, чем воля обыкновенных смертных. Кто верит в свое призвание пророка, может не задумываться над тем, что он говорит: в нужное время придут к нему и мысли, и красноречие, и та особенная мудрость, какую завещал Христос своим апостолам в

Прислано из России.

* См. «Синтаксис» №10, 12.

последнем напутствии. Если речь идет о пророке, никто не задумывается, умный ли он человек в обычном, человеческом смысле слова. Речи обыкновенного смертного подвергаются немолчалимому контролю здравого смысла, сопоставляются с известными фактами и одна с другой. Иное дело, если мы знаем, что перед нами пророк господень. А узнать это можно по тому, что он творит чудеса.

В глазах современного общества мужество является чудом. Наш современник сопоставляет жизнь Александра Солженицына со своей собственной жизнью, его поступки со своими собственными возможностями — и приходит к выводу, что для объяснения такого явления, как Солженицын, недостаточно естественных причин. Более того, к этому выводу приходит и сам Александр Исаевич. Значение, которое он придает своему мужеству, презрительная снисходительность, с которой он ограничивает возможное мужество своих сограждан, не оставляют сомнения в том, что он воспринимает мужество вообще как редкий, особенный дар свыше, и удивляется этому дару в самом себе. Знание истории могло бы предохранить его от такого заблуждения. Задолго до нас бывали эпохи патологической трусости, но известны и времена, когда мужество было повседневной привычкой, а трусость преследовалась общим презрением. Знание истории могло бы внушить Александру Исаевичу большее уважение к человеческой природе, а чувство юмора — избавить от самолюбования. Но истории Солженицын не знает, а юмора ему трагически недостает.

Бесспорно, Александр Исаевич проявил мужество, необычное для его неверующих современников. Среди верующих это свойство встречается сплошь и рядом, и он это знает. Нынешние неверующие, напротив, почти все трусливы и подсознательно убеждены в своей трусости, чем и объясняется культ Солженицына здесь и за границей. Поклонники Александра Исаевича не вызывают у него иллюзий: он знает им цену.

Люди, не верящие в чудеса и способные думать о чем-нибудь кроме собственного страха, не обязаны признавать Солженицына пророком. Они вправе спросить себя, кто этот человек, чему он учит и чего он хочет для России. Затем они могут задуматься, не похоже ли его учение на что-нибудь известное, чему уже учили другие, и что вышло из этих учений. И, наконец, они должны уяснить себе, чего они хотят сами.

* * *

Мне трудно говорить, что я думаю об Александре Исаевиче, потому что я его когда-то любил. Но я обязан говорить о

нем, потому что перестал любить его и должен объяснить, почему. Александр Исаевич — высоко одаренный писатель, ему принадлежит бессмертная заслуга возрождения русской литературы. Литература не может существовать вне жизни, и никакое мастерство не способно создать писателя, если он не говорит правду. Сомнительно даже, бывает ли мастерство лжи: во всех известных мне случаях ложь очевидным образом бездарна. Не зачем объяснять, насколько невозможна ложь для русской литературы. Условия прошлого века давали русскому обществу мало выходов в практическую жизнь, но оставляли почти свободный выход в литературу. Отсюда чудесное правдолюбие русской литературы, но отсюда же ее учительская тенденция, столь удивляющая иностранцев. Пророки всегда говорили поэтическим языком, но поэты не всегда ощущали в себе пророческое призвание. Этого не было у Шекспира, не было у Гете, и чтобы найти что-нибудь подобное духу русской литературы, надо вернуться к Данте, в мир средневекового человека. Наивная природа русского человека, не тронутая новой историей, восприняла ее готовые плоды, и так возникла Россия. Так же возникла и русская литература. В откровенности ее величие — и ее соблазн. Русский писатель не может не говорить правду, всю доступную ему правду. И эту правду, виденную своими глазами, рассказал нам Александр Солженицын.

Помню, как я впервые о нем узнал. Перелистывая иностранную газету, я увидел какую-то беллетристику и хотел было ее пропустить, но заметил русские имена, удивился и принялся читать. Это был перевод "Ивана Денисовича", часть перевода, попавшая в этот номер. Оказалось, что все уже читали это, говорили об этом, но до меня както не дошло. Я разыскал "Роман-газету" и испытал то чувство неизбежной причастности к изображаемой жизни, какое может вызвать лишь *современный* писатель, живущий здесь и сейчас, — чувство необычное, не данное в опыте нашему поколению. Это была *живая* литература, обращенная к нам, и явление ее было странно, потому что не могло быть русской литературы, если не было России. Россия была удивительная страна, известная нам по книгам и рассказам стариков. Ее не было больше вне нас, но мы знали, что несем ее в себе. Каждый нес в будущее свою долю России и думал, кому передаст свою ношу. Но мы не знали друг друга, не знали, что несут другие, что удалось спасти и что погибло. И вот оказался среди нас человек, не уронивший русское слово.

А потом явился Нержин, положительный герой нашего времени. Нержин, не просто спасавший собственное достоинство, но прятавший в лагерные щели листочки своего труда,

где пытался понять, что было с Россией, и почему так было. В первом романе автор сохранил еще мудрую умеренность художника и оставил нас в неведении об этом труде. Конечно же, это были мысли о русской истории, достойные Нержина, достойные Александра Солженицына. Как хорошо, что мы не знали тогда этих мыслей! Я отчетливо помню ощущение, вызванное у меня явлением Нержина. Думаю, то же испытали и другие читатели романа, глотавшие эти страницы, не зная друг друга, каждый в своем углу. Это было ощущение *человека, идущего впереди*. Человек нуждается в героях и вождях, и очень несчастен в такие времена, когда не видит перед собой достойного примера. Нет более тяжкого бремени, чем выработка собственных взглядов и поведения. Человек жаждет свалить это бремя на кого-нибудь другого. Хуже всего думать, что нет никого впереди, что никто не укажет дорогу. Это ставит человека перед строгой ответственностью, потому что в этом случае ведущим оказывается он сам. Как хорошо было думать, что впереди нас не пусто, что есть Нержин с его спрятанными листками!

А потом стало выясняться, что было написано на этих листках. Первым диссонансом были философские эссе, если можно назвать иностранным словом эти очень русские короткие разговоры. Был там разговор об утренней гимнастике, вызвавший у меня изумление своим комически поповским тоном. Я не любитель спорта, а если принять во внимание его зловредную роль в современном мире, то я ему прямо враждебен. Но гнев Александра Исаевича направлен здесь не против советского спорта, а против человеческого тела. "Душу надо спасать, а не тело" — вот подлинная мораль этого разговора, восходящая к очень старой и очень вредной христианской традиции. Не думаю, что автор сознает свою мораль в этой ее изначальной форме: вряд ли он отдает себе отчет, насколько сильна в нем идея умерщвления плоти. Был там разговор о монастырях и о смерти, с очень сильным напоминанием об этом неприятном предмете. Здесь Александр Исаевич вполне прав: культура, желающая отмахнуться от смерти, долго прожить не может. Вообще, о смерти Солженицын говорит лучше, чем о жизни: вероятно, он больше о ней размышлял. И еще был там разговор о грузовике, обличение грузовика.

Наконец, появился "Август". Вряд ли стоит рассказывать, как Солженицын постепенно раскрывал перед публикой свои взгляды. Здесь не было внутреннего развития: однажды сложившись, эти взгляды уже не менялись, и не менялся человек. Я скажу дальше, как понимаю личность Александра Исаевича. То, что я собираюсь сказать, не будет ново для вдумчивого чи-

тателя, не связанного с идеологией русского национализма. Но я скажу это откровенно, без вежливых недомолвок. Писатель, выступающий в роли руководителя общественного мнения, активно занимающийся политикой вполне определенного направления, не должен ожидать любезностей от своих политических противников. Он может лишь рассчитывать на объективность. Постараюсь быть объективным, хотя, как я уже сказал, Александра Исаевича не люблю.

Прежде всего, Александр Исаевич человек сильных страстей. Он в высокой степени наделен способностью любить и ненавидеть — по законам психологии, это не две разных способности, а одна и та же. Но способность любить у него ограничена узким кругом его понятий, тем, что он приучился любить с детства. У немногих глубоко верующих людей эта способность драматически расширяется развитием их внутренней жизни, но большинство упрямо любит и ненавидит, как их однажды научили. Лев Толстой пытался любить всех людей и подавлял в себе ненависть к людям. Это не шло к его натуре, но он полагал, что обязан чувствовать, как христианин, как чувствовали немногие глубоко верующие христиане. Александр Исаевич чувствует, как большинство церковно верующих людей, не мучая себя сомнениями, кого он обязан любить и кого не должен ненавидеть. Он из тех русских людей, кто преклоняется перед святыми, но не думает им подражать, как это пронизательно описал Бердяев. Жизнь наложила отпечаток на чувства Александра Исаевича: он суров и, пожалуй, несколько мрачен. Церковь всегда опасалась мучеников — из-за их нелюбви к жизни, а также из-за их высокомерных притязаний. Нечто от этих свойств присуще и Александру Исаевичу, потому что он мученик. Мученик по привычке и убеждению, но не святой. Александр Исаевич находит, что сидеть в тюрьме может быть полезно. Тюрьма для него школа мужества, твердости духа и упорства, но не школа смирения и покаяния. Призывам к покаянию, исходящим от Александра Исаевича, я не верю, и дальше объясню, почему. Иначе говоря, Александр Исаевич ценит тюрьму как средство воспитания характера. Это не христианский подход, а языческий и, в некоторой степени, спортивный.

Александр Исаевич любит Русь, но не любит Россию. Он любит все архаическое и вообще все старое, что еще можно найти на Руси, но не потому, что его интересует история. Истории он не понимает, людей прошлого не видит, не способен на-

писать никакого исторического романа, даже из нынешнего века. Привязанность Александра Исаевича к русской старине означает совсем другое: его неразрывную связь с племенной массой, с тем, что Ницше презрительно называл "стадом", и что лучше понимали мудрецы прошлого, видевшие в человеке общественное животное. Трагедия Солженицына в том, что эта племенная масса, этот коллективный организм русского племени разлагается у него на глазах, и он лихорадочно цепляется за все дребезги прошлого, какие может заметить, заклиная время остановиться, вернуться вспять, чтобы никогда не было Возрождения, революций и отвратительного, но, увы, до мозга костей русского Петра Алексеевича, заварившего всю эту кашу.

Отсюда — из его любви — следует его ненависть: Александр Исаевич великий ненавистник. Он ненавидит все, что подрывает, размывает, расшатывает русскую племенную массу, устоявшийся уклад русской жизни, русскую "культуру" в *этнографическом* смысле этого слова. Защита этой "культуры" от разрушающих ее инородных элементов и составляет главное дело его жизни. И здесь мы видим корни не только русского, но любого национализма.

Немецкий национализм завершил уже тот путь, на который ныне вступает русский. Германия отстала от европейской истории и поздно включилась в концерт европейских держав. Столкнувшись с развитой и утонченной культурой своих соседей, особенно французов, немцы впали в состояние подавленности, неверия в свои силы, в комплекс национальной неполноценности. Проникновение инородных элементов расшатывало немецкий быт, разрушало "культуру" немецкой отсталости, немецкого захолустья. Эту "культуру" поглощала многоязычная ярмарка больших городов, ей угрожала непостижимая универсальность науки и техники, ее угнетала власть международных банков. Все это воспринималось как гибель истинно-немецкого, растворение немецкого человека в космополитической стихии. Наибольшей же опасностью казался красный интернационал, прямо враждебный всякой национальной идее и обращавшийся к *простому человеку*: здесь подрывались уже самые корни национальной жизни.

Немецкий национализм был реакцией в защиту немецкой "Культуры", в этнографическом смысле этого слова. Известно (и подробно изучено социологами), каким образом южногерманский, местечковый тип этой реакции породил немецкий фашизм. Все это надо иметь в виду, чтобы понять, что любит Александр Исаевич, что он ненавидит, и что из этих вещей может выйти.

Аналогию можно проследить до мелких деталей, и все эти детали не случайны. Выражаясь научным языком, здесь глубокое совпадение психологических и социальных механизмов. Но прежде, чем осудить все это, постараемся понять. Подумаем, нет ли в этой отсталой и опасной идеологии некоей человеческой правды и тем самым — исторического смысла. И тогда "реакция" может оказаться не просто бранным словом, а реакцией в прямом смысле этого слова, естественным противодействием некоторой части человеческого существа подавляющей ее силе — противодействием, законным по происхождению, но впадшим в отчаяние и вступившим на ложный путь.

Для этого надо оценить совокупность явлений, обычно называемых шаблонным термином "прогресс". Слово это принимается некритически. Для большинства людей оно означало — и продолжает означать — нечто очень хорошее и желательное: продвижение к лучшему будущему, когда все будут сыты и довольны, когда все потребности человека будут удовлетворяться нажатием кнопки, когда будут побеждены болезни, исчезнут страдания, а может быть — от улучшения человеческой природы или с помощью кибернетики — даже не станет смерти. Всех этих благ люди ожидали от совершенствования человека и развития человеческих учреждений; теперь же, когда вера в то и другое почти исчезла, а сохранилась лишь вера в непосредственно ощутимые материальные вещи, этих благ ожидают от развития науки и техники. "Прогресс" обзавелся двумя обязательными прилагательными и теперь именуется "научно-техническим прогрессом".

Реакция против этой "религии прогресса" вдохновлялась, прежде всего, традиционной религией, имевшей совсем иную концепцию человека. Религия учит, что человек слаб и порочен по своей природе, потому что испорчен первородным грехом; что страдания и смерть неизбежны, потому что человек согрешил против бога; что лучшее будущее для отдельной личности находится по ту сторону гроба, а всему человечеству в целом предстоит страшный суд, после чего для немногих праведных устроится Тысячелетнее царство на земле, и править им будет Христос; а потом, под водительством Христа, праведники пойдут в рай.

При всей видимой несовместимости этих мировоззрений, они вовсе не отделены непроходимой пропастью, а теснейшим образом связаны между собой. Более того, известно, что первое из них прямо произошло от второго. Если взять марксис-

тскую версию прогресса, то коммунизм оказывается при ближайшем рассмотрении трансформацией Тысячелетнего царства, праведники превращаются в сознательных пролетариев, а первородный грех становится частной собственностью на средства производства. Каждый историк знает, что эти черты сходства не случайны, а объясняются генетически, через последовательность хорошо изученных переходов: "утопический коммунизм" представляет в этой истории вымершую промежуточную форму, а разные течения христианского социализма подобны реликтовым видам, сохранившим атавистические черты своих предков. Даже самая концепция прогресса зародилась в лоне иудео-христианской религиозной мысли. Языческим культурам древности было чуждо представление о поступательном ходе истории, об историческом развитии. Достаточно вспомнить неподвижный космос египтян или греческую философию вечного повторения. Первые зародыши "религии прогресса" можно найти у еврейских пророков: это будущий мир, где люди перекуют мечи на орала, где хищники и их жертвы будут жить в мирном сосуществовании. Здесь Золотой век помещается уже не в начале истории, как это было у язычников, а в ее конце. Затем является идея Тысячелетнего царства, идеал подражания Христу, то есть совершенствования человека с приложением его сознательных усилий, и идеал монастырской жизни, уже содержащий в себе Телемское аббатство. Все это нетрудно проследить. Почему же нынешние верующие, а также нынешние неверующие, смехотворно подражающие мертвым для них формам мышления, столь яростно ополчились на идею прогресса? В чем причина столь очевидной *реакции*?

Чтобы понять это, надо прежде всего видеть, что история человечества есть *процесс изменения*: меняются тип человека и условия его общественной жизни. Последнее не оспаривается никем, а в отношении человеческого типа можно, конечно, услышать возражения, поскольку верующие и все, кто им подражает, склонны преуменьшать культурное наследие человека и подчеркивать биологическое. В каждом из нас сидит, конечно, ветхий Адам, со всеми свойствами, какие он получил от дьявола в роковой день грехопадения, или, по другой теории, унаследовал от обезьяны. Но если даже признать неизменность биологической природы человека, что вызывает в последнее время серьезные возражения, то невозможно оспаривать различия между современным человеком и прошлым. Нынешнего русского человека трудно представить себе православным мужем, хранящим свою сермяжную правду; для этого надо быть очень старым, прожить всю жизнь в Париже или впасть в благо-

честивый обман, как это делают Солженицын и его друзья. Мы можем еще представить себе русского человека православным, и даже непременно представляем его православным, когда еще можно было назвать его русским. Но можем ли мы вообразить новгородцев, сбежавшихся на звук набата, чтобы не дать в обиду старых богов? Так и напрашиваются стереотипные фразы: вставайте, православные, не дадим, не допустим осквернить, и т.д. Можно, конечно, настаивать на неизменности человека, ссылаясь на "мистическое тело нации"; мистики этого рода, и с теми же аргументами, некогда распяли Христа.

Но я отвлекся от моего предмета. Так вот, история состоит в том, что времена меняются, и с ними меняется человек. Конечно, при этом не вся масса людей меняется одинаково быстро: впереди идут, если так можно выразиться, энтузиасты и разносчики прогресса, а за ними поспевают, как может, инертная масса обыкновенных людей. Трубадуры прогресса не так уж много; естественно, они считают себя элитой, солью земли, а отстающих собратьев презирают. Между тем, эти отстающие собратья тоже хранят некую правду: они хранят святое недоверие своей культуры к опасным новшествам, могущим ее расшатать. В них здоровье культуры, ее устойчивая норма, и масса эта инстинктивно боится не испытанных на опыте идей, лихорадящих передовую элиту. Трагедия массы в том, что она не может выразить и развить свою правду: люди, способные производить и формулировать идеи, фатальным образом оказываются в партии прогресса, забегают вперед и доводят до последней крайности модную доктрину, между тем как идеологи компактного большинства, консерваторы и ретрограды, разделяют со своей публикой посредственные способности к мышлению и нехитрый набор ходячих идей.

Я не собираюсь развивать здесь подробнее философию истории, а выбрал из нее лишь несколько очевидных наблюдений, слишком часто упускаемых из виду. Культура, о которой идет речь, справедливо называется *христианской*. От нее происходит наша совесть — понимание долга перед людьми и собой, наша способность к глубокому психическим состояниям греха и благодати, даже само понятие *Человека* — не раба и не воина, не еллина и не иудея, а Человека вообще. Здесь не важно, был или не был человек Иисус; это символ глубочайшей перемены в истории, а перемена эта бесспорно была — иначе не было бы нас. Надо быть очень глупым рационалистом, чтобы все это отрицать, и я не предполагаю моего читателя рационалистом этого рода. Христианской культуре две тысячи лет, и теперь она рушится у нас на глазах. Рушатся сами основы той западной ци-

визации, о которой болтают все глупцы Америки и Европы. Вместе с христианской моралью, с христианским складом души исчезает самая основа трудолюбия и приличного поведения, основа отношений между мужчиной и женщиной, между отцом и сыном. Все это вынужден признать и неверующий — если он видит и слышит. Он видит, что рушится не только Западная цивилизация, но и все другие. Но если сам он вышел из христианской традиции, то невольно повторит слова поэта:

Eh bien! qu'il soit permis d'en baiser la poussière
Au moïn crédule enfant de ce siècle sans foi,
Et de pleurer, ô Christ, sur cette froide terre
Qui vivait de ta mort et qui mourra sans toi!

(Что же, да будет позволено облобызать этот прах / самому неверующему сыну этого века, лишенного веры, / и плакать, о Христос, на этой холодной земле, / которая жила твоей смертью и умрет без тебя!)

По-видимому, мы зашли в тупик с нашим прогрессом. Марксизм, последняя ересь христианской религии, продержался недолго и опорочен кровавыми экспериментами. Последняя вспышка пламенной веры сменилась общим равнодушием к какой бы то ни было идеологии, да и вообще ко всем сложным и высоким идеям. На смену им вполне закономерно выступили совсем простые идеи, *низменные* с точки зрения наших предков. Психологи, наблюдая такое явление в жизни индивида, называли это *регрессией*: человек, испытавший глубокое потрясение, теряет приобретения зрелого возраста и возвращается к привычкам своего детства. История двадцатого века есть история двух великих регрессий: возвращения к культуре вещей и культу вещей.

Опаснее культ вещей, потому что он всем доступен и не требует жертв. Я назвал бы его Опасностью номер один. Наш враг номер один — американизация жизни. Но нельзя говорить обо всем сразу. Я буду говорить дальше о культе крови: это Опасность номер два.

Масса, отставшая от прогресса, всегда держалась традиционных взглядов. Это было возможно до тех пор, пока традиция была жива и могла воспроизводиться в новых поколениях. В этих условиях инерция массы была полезна для человечества, подобно балласту, нужному для устойчивости корабля. Можно сказать, что голос народа был в общественной жизни голосом здравого смысла, и воспринимался он, естественно, как глас

божий. Все это возможно было, пока традиция была жива. Но вот традиция умерла, вместе с христианской культурой. Ее убила, в конечном счете, наука, закономерно порожденная этой же культурой, а затем спущенная в народные массы в виде нескольких очень банальных мифов. Тогда народная культура стала быстро разлагаться; продукт этого разложения мы назовем, следуя Герцену, *мещанством*. Конечно, у мещанства есть общие признаки, и не обязательно связывать это понятие с особыми русскими чертами, как это сделал впоследствии Максим Горький; но для нашей цели важно как раз горьковское мещанство, взятое в следующей, советской, стадии его разложения. Потому что Александр Солженицын — идеолог современного русского мещанства.

Он представитель мещанской массы по своим идеям, но, конечно, не типичен для нее своей личностью и поведением. Масса эта может найти себе идеологию только в прошлом, и доставить ей нужную идеологию могут лишь наиболее сильные ее представители, то есть люди, крепче всего укоренившиеся в этом прошлом. Таким человеком и является Александр Солженицын, идеология же его, как мы увидим, изготовлена из некоторой дореволюционной философии.

Затрудняюсь придумать ей название: "культ крови" звучит очень уж торжественно и подходит скорее для переходных явлений вроде немецкого фашизма, когда от традиции сохранилось еще достаточно много, и мещанин был еще достаточно крепок, чтобы все это натворить. Я буду называть идеологию Александра Солженицына, как он назвал бы ее сам — русским национализмом. Как я раньше сказал, русский национализм вступает теперь на путь, уже пройденный немецким, но не думаю, чтобы ему удалось этот путь пройти. К истории приложима старая мудрость: что в первый раз было трагедией, во второй раз оказывается фарсом. Это не значит, конечно, что русский национализм не способен вредить.

* * *

Поскольку мещанство несет в себе остатки христианской культуры, хотя бы в разрозненном и примитивном виде, вполне естественно, что мещанская реакция на распад этой культуры кое в чем заслуживает уважения. Прежде всего здесь надо сказать об отношении к так называемой "сексуальной революции". Конечно, в этом Александр Исаевич особенно расходится с *нынешней* разновидностью русского мещанства: он принадлежит по своему эмоциональному складу к самой "отсталой" его части и, следовательно, к самой лучшей.

В основе всякой культуры лежит система ограничений, державающих удовлетворение инстинктов. Развитие культуры состоит не в освобождении от этих ограничений, а в их усложнении: различие дозволенного от запретного углубляется, органически связываясь с первичными ценностями культуры. Если ограничения просто снимаются, то культура гибнет.

Христианская культура ограничивала поведение человека системой жестких запретов. Особенно сильно отразились эти запреты на положении женщины: христианство завершило ее порабощение, надолго укрепив господство мужчин — патриархат. Этой ценой утвердилась христианская семья, строго моногамная и подчиненная власти мужа. Невозможно оспаривать историческое значение семьи: она была основной ячейкой культуры, в ней передавалось культурное наследие, в ней воспитывалось человеческое поведение: способность любить, способность переносить лишения, мужество и трудолюбие. Мы не придумали другого механизма для выполнения этих функций, взамен разрушенной семьи; впрочем, такие механизмы и не придумываются, а возникают эволюционным путем, как и все механизмы жизни.

Христианская семья была основой культуры и наложила на эту культуру свой отпечаток. Умерщвление плоти, бегство в монастыри, психические эпидемии — в том числе охота на ведьм — все эти виды отчуждения женщины прямо связаны с ее новым историческим поражением. Христианство принесло в Европу ближневосточные взгляды на женщину, и даже не ветхозаветные, а гораздо худшие, с неподражаемой поповской ограниченностью выраженные апостолом Павлом: женщина воспринималась как полезное животное, наделенное разумом, насколько это нужно для работы, и способностью любить, но только мужа и детей. В этом было грубое непонимание человеческой природы, потому что человек — и мужчина, и женщина — наделен разумом, не знающим границ, и способностью любить, не поддающейся регламентации.

Вначале богословы сомневались даже, есть ли у женщины душа. Можно себе представить, что получилось бы из отрицательного решения этого вопроса; к счастью, отцы Маконого собора, большинством в два голоса, все же оставили женщине душу. Мы не отдаем себе отчета, насколько глубоко порабощение женщины в западной культуре, и склонны обличительно кивать в сторону восточной. Рабство женщины хуже рабства негров. По-видимому, главная беда негров не в том, что белые считают их хуже себя, а в том, что они в это уверовали сами. Всего несколько веков отделяет черного человека от встречи с

его белым собратом, между тем как женщина верит в свою неполноценность уже много тысячелетий. Она верит в свою "женственность", то есть слабость и умственную незрелость, нуждается в руководстве, претендует на инвалидные льготы. Не только в общественной функции, но и в подсознательном самопонимании она совмещает роли человеческого существа и товара. Исторические черты, присущие ее положению в *патриархальной* культуре, воспринимаются как биологически неизбежные законы: из того, что мужчина не может рожать детей, выводится, что женщина должна мыть посуду.

К счастью, положение женщины в западной культуре не вполне зависело от апостола Павла. Была еще варварская традиция, отводившая женщине более важное место, и из этой традиции вышло рыцарство с культом прекрасной дамы, менажерами и любовными турнирами. Это был патриархат, ограниченный красотой: он навязал самому христианству культ святой девы. Отсюда произошла любовь между мужчиной и женщиной, или, если надо еще раз подчеркнуть, о какой культуре идет речь, — *романтическая* любовь. Деятнадцатый век видел бывший расцвет романтической любви и начало ее упадка, а наш двадцатый уже с трудом понимает, что значат эти слова.

Идеал новой семьи, основанной на равенстве и любви, не мог быть осуществлен в одно поколение: для этого нужен был новый тип женщины и новый тип мужчины. Новая семья могла возникнуть лишь путем развития, а не разрушения старой. Но в начале двадцатого века западная культура стала стремительно разрушаться, а с нею и семья, и любовь. Это привело к радикальному упрощению человеческих чувств, известному под именем "сексуальной революции". Поскольку вместе со всей культурой снижался и человеческий тип ее идеологов и публицистов, то не удивительно, что модные мыслители Запада усмотрели в "сексуальной революции" великое достижение прогресса, окончательное освобождение Эроса от тысячелетних предассудков и запретов.

Но *всякая* культура держится на строгой системе ограничений, отсрочивающих выполнение желаний. Нет сомнений в том, что без такой системы просто невозможно биологическое выживание человека. Как показали зоологи, задержки этого рода существуют у всех высших животных и составляют у каждого вида стройную систему поведения. В частности, у каждого вида высших животных существуют весьма сложные, выработанные эволюцией ритуалы "ухаживания" и "брака". В этом смысле культура подобна сложившемуся виду, и это более чем аналогия: в действительности система поведения представляет

столь же неотделимую характеристику вида, как и его физическое строение, так что мы имеем здесь частные случаи общего понятия. Распад культуры вполне аналогичен тому упрощению поведения, какое наблюдается при *одомашнении* животных. К сожалению, это сравнение — не полемическая крайность, а результат тщательного исследования действующих в обоих случаях механизмов, обнаружившего далеко идущий параллелизм между приручением животных и идущим теперь превращением человека в нечто вроде домашнего скота. Пожалуй, "положение человека" в наши дни еще хуже положения скота, поскольку половое влечение действует у человека круглый год и повсюду используется как средство "разрядки" нервной системы, а это доводит распад личности до уровня автомата.

Естественно, такое развитие нравов вызывает не только одобрение, но и некоторую оппозицию. Поскольку передовые мыслители эпохи восторженно поощряют все виды освободительного движения, то оппозиция исходит преимущественно от так называемых "консервативных слоев", то есть от "отсталых" групп современного мещанства. Такая *мещанская* оппозиция современному образу жизни неизбежно принимает вид ностальгии о прошлом, стремления вернуться в прошлое, со всеми его хорошими и дурными чертами, и прежде всего — с патриархальным взглядом на женщину и семью. Романтическая любовь мещанина не увлекает: он видит в женщине не Прекрасную Даму, а хозяйку.

Александр Исаевич яростно не приемлет "сексуальную революцию". Он видит ее повсюду, проникшую во все слои общества и отравляющую все источники жизни, он ощущает ее как порчу, разложение естественного порядка вещей. Этим естественным порядком оказывается, конечно, патриархальная семья. Мещане нападают на "эмансипацию" женщины с помощью аргументов, издавна применяемых для обоснования сегрегации негров. Нам говорят, что каждый пол по-своему хорош, но сама природа сделала их разными, и каждому должна быть отведена отдельная сфера. Если женщина проявляет страстную любознательность, дорожит своей работой, добивается экономической независимости — все это объявляется сексуальной патологией. Мещане бывают разные, это не только простые обыватели, но, равным образом, джентльмены и поэты, они могут выражать свои чувства прозой и стихами. Джентльмены хотели бы видеть женщин в гостиной, но для подавляющего числа женщин популярный лозунг означает: назад, на кухню! Сторонники этого взгляда не затрудняют себя вопросом, какие гены в самом деле сцеплены с полом. Рассуждения их выража-

ют совсем иную биологию: неумение справиться с женщиной и возникающий отсюда комплекс неполноценности мужчины.

Для Александра Исаевича все это, пожалуй, не так просто. На него все же повлияла романтическая концепция любви. Но в своей семейной философии он не романтик, а натуралист. И я удивляюсь, увидев в числе его почитателей женщин — работающих женщин, нередко любящих свое дело. Ведь согласно этой философии их место — на кухне. Иные женщины говорят на это, что не желают ничего другого и охотно бросили бы работу. Я заметил поразительное совпадение: это в точности те дамы, которые прочно держат своих мужей под каблуком.

С философской точки зрения, кухонная работа одинаково доступна обоим полам; но говорят, что лучшие повара, все-таки, мужчины.

* * *

Другая важная сторона в мировоззрении Александра Исаевича — его отношение к труду. В этом он очень консервативен, представляя почти исчезнувшую установку. У нынешнего русского мещанина традиционное отношение к труду почти исчезло, хотя и одобряется на словах. Если у человека недостает ловкости устроиться в какую-нибудь канцелярию, если он слишком инертен и следует родительскому примеру, то ему приходится "вкалывать", идти по утрам на работу и выполнять там самые неизбежные телодвижения, но он этой работы не любит, да и вообще не любит уже никакого труда. Если же он смолodu попал в канцелярию, то никакого труда и не знает: у него вырабатывается психология паразита и вора. От такой психологии вовсе не свободен и труженик, рассматривающий государственную собственность как лежащее без присмотра бесхозное имущество. Растаскивается все, что можно стащить, и кража так называемого общественного достояния не рассматривается как воровство. Явление это не ново. Положение собственности всегда было двусмысленным в такие времена, как наше. Когда вся страна объявляется собственностью государства, племени завоевателей или царя, то управление землей, промыслами и торговлей поручается назначаемым для этого военачальникам или чиновникам. Формальное право собственности за ними не признается, но молчаливо предполагается, что каждый будет грабить и красть в пределах своей власти. Со временем кражу освящает обычай, а право управления становится наследственным: так возникает феодализм. Так было в Египте Птолемеев, в средневековой Европе.

Если и в самом деле нет никакого прогресса, если верно, что история вечно повторяется, то наше начальство должно превратиться в аристократию: потомки наших директоров и завхозов, проникнувшись собственным достоинством и укрепившись в своем праве, превратятся в графов и баронов. Но при виде их родоначальников, завладевших этой страной, приходит на память древняя эпитафия:

... Худшие люди над лучшими здесь одержали победу.

У нашего времени есть, однако, и особенные черты, не имеющие исторических аналогий. После самых кровавых завоеваний и переворотов сохранялась первоначальная ячейка общества: семья, деревенская община, прямая связь человека с землей и ремеслом. Сверху менялись господа, но снизу оставался труд, необходимый для пропитания семьи, — следовательно, осмысленный труд. Никогда не было так, чтобы *каждый* труженик превратился в чиновника, исполняющего назначенную ему функцию в государственном аппарате и получающего установленное жалованье. Никогда не было так, чтобы распределение благ вовсе не зависело от выполненного труда, а определялось бы лишь *статусом*, местом человека в ранговой системе. Мы приближаемся к беспримерному, не известному истории общественному устройству — *абсолютной бюрократии*. На Западе происходят те же явления, хотя и в менее выраженном виде. Окончательным итогом этих процессов будет, как полагают, вполне механизированное общество, которое Достоевский назвал "муравейником", а Хаксли изобразил в романе "Прекрасный Новый Мир".

Но этого не будет. Не будет потому, что человек не годится для такой машины, не может быть ее строительным элементом. Человек — не муравей. Колонии "государственных насекомых" состоят из организмов, не способных к отдельному существованию: муравей — не личность, и вернее было бы считать всю колонию единым организмом. На старинной иллюстрации к Гоббсу можно видеть Левиафана, гиганта, сплетенного из человеческих тел. Есть много причин, почему не может быть Левиафана, но полное обсуждение этого вопроса завело бы нас слишком далеко. Одна из причин в том, что человек, низведенный до положения муравья, не способен к труду. Человеческий труд должен иметь смысл. Простейший вид осмысленного труда — труд для собственного пропитания или пропитания семьи, труд, непосредственно связанный со своим объектом, с собственной землей, с предметом, возникающим под собственны-

ми руками. В этом простейшем смысле труд был доступен большим человеческим массам, и в этом смысле понимает его Солженицын. Одна из сильных сторон Александра Исаевича — понимание глубокой человеческой потребности в труде. Все помнят сцену из "Ивана Денисовича", где эта потребность проявляется в предельно бессмысленной лагерной работе. Лагерное население состояло тогда большею частью из тружеников, оторванных от земли и станка, но сохранивших привычку к работе, рабочие навыки, исстрадавшихся по настоящей работе. Беда в том, что *теперь* таких наберется немного — хотел было сказать, не хватит и на один лагерь, но все-таки — больше.

Человеческий труд прекрасен и в этом ограниченном его понимании, но самая ограниченность является характерно мецанской. Нельзя сказать, чтобы Александр Исаевич совсем уж не видел других сторон этого предмета. Как это ни странно, он уважает технику: после обличения автомобиля можно было бы ждать от него последовательного толстовства в отношении всяких машин. Как все русские крестьяне, попавшие за границу (а надо признать в Александре Исаевиче крепкую крестьянскую основу), он поражен был солидной хозяйственностью немецких деревень. У него есть техническая жилка, он любит хорошо слаженные механизмы. Более того, он уважает немецкую организацию: в этом проявляется его любовь к порядку, заслуживающее полного уважения наследие хозяйственного мужика. Беда Александра Исаевича в том, что он не верит в осмысленный *общественный* труд. Для этого поистине нужна вера, после всего, что мы видели и видим каждый день. Неверие же, как всегда, бессильно, и вот Александр Исаевич, пытаясь соорудить некий трудовой план, забавным образом соскальзывает на советские рельсы. Он хотел бы соединить немецкую деловитость с русским православным размахом. Он хотел бы направить бригады русской молодежи на освоение Северо-Востока: как видно, его позитивные идеалы не идут дальше того же БАМ'а, в православном варианте. Все это не только забавно, но и опасно, потому что — под другой вывеской — подозрительно похоже. Ведь если русские юноши не захотят добровольно осваивать Воркуту и Колыму, то поклонники Солженицына могут, уже не спрашивая его согласия, устроить православный Архипелаг.

* * *

Я перейду теперь к самому тяжелому прегрешению Александра Исаевича перед любившим его читателем — к его безудержному шовинизму. Здесь мы имеем случай безусловной ре-

грессии. Самый язык этой идеологии подозрительно знаком. Все эти "национальные цели", "национальные идеалы", "национальное возрождение" звучат как перевод с немецкого. И если даже можно найти для всего этого русский источник, то перед нами, без сомнения, тот же язык.

Люди всегда соединялись в группы, общины, организации, чтобы вместе жить и вместе противостоять другим. Деление людей на партии вовсе не выдуманно большевиками, оно древнее человека разумного и практиковалось еще человеком неразумным. Членов собственной партии нельзя было есть, а представителей враждебной полагалось съесть с соблюдением церемоний. Нельзя, конечно, рассчитывать, что и в самом далеком будущем люди перестанут делиться на группы, но можно надеяться, что способы их обращения друг с другом значительно смягчатся: ведь мы и сейчас уже не едим своих врагов.

Древнейший способ соединения людей был племенной: люди общего происхождения составляли союз, и это помогало им выжить. Естественно, они приписывали своему племени все достоинства, а другим племенам все пороки, и такая установка, конечно, древнее членораздельной речи. Иначе и не могло быть — лишь полное отчуждение от инородного человека могло вызвать необходимый прилив адреналина в момент, когда надо было раскроить ему череп. Древнюю историю заполняют племенные распри, а древние религии были для людей одного рода. Христианский бог начал свое поприще в качестве племенного бога евреев.

В конце древнего мира возник другой способ соединения людей — универсальная религия. Для нее не было племенных границ, не было "ни еллина, ни иудея". В средние века религия стала силой, связывавшей европейские племена: весь христианский мир считался единой семьей, с духовным руководством в виде единой церкви, и этот христианский мир противостоял миру неверных, рассматриваемых как люди низшего сорта или почти не люди. Религия не сняла племенные различия, но смягчила конфликты между народами, наложив на прежнее деление людей другое, считавшееся более важным.

В конце средних веков этот способ деления людей стал сменяться новым: люди начали соединяться по своим убеждениям. Этот способ требовал от человека большей личной энергии, чем религия, которой можно было послушно следовать, или племя, в котором достаточно было родиться. В девятнадцатом веке личные убеждения человека стали важнее, чем религия и племя, в которых он явился на свет. Считалось — и особенно в России — что человек должен сам вырабатывать свое

мировоззрение, а не брать его готовым. Конечно, это пожелание трудно было исполнить, и человек примыкал обычно к одной из существовавших "идеологий": прошлый век был "веком идеологии". Но каждый должен был сам делать выбор.

Три стадии развития общества, описанные выше, по традиции называются: древность, средние века и новое время. Можно спорить, где они переходят друг в друга, но самое деление истории на три эпохи имеет глубокий смысл. Мы выбрали здесь очевидную характеристику, различающую эти эпохи: способ соединения людей в противостоящие группы. На заре нового времени был еретик, итальянский монах Джоакино дель Фьоре. Он учил, что вначале было царство Отца, затем царство Сына, а теперь (в тринадцатом веке) наступает третье и последнее — царство Святого Духа. Многим из наших современников слишком трудно жить в этом царстве Святого Духа, их тянет обратно, в ветхозаветное царство Отца. Это и есть "кризис идеологии".

"Идеология" — это система взглядов, пытающаяся объяснить мир и понять человека, а затем, исходя из этого понимания, объяснить человеческое общество и историю, представить себе лучшее будущее человечества и указать к нему путь. Можно спросить себя, чем идеология отличается от философии? По-видимому, у философии тот же предмет, и различие не в содержании, а в качестве и эмоциональной установке. Можно сказать, что идеология — это прикладная популярная философия, одобренная намеренным или невольным шарлатанством. Я уже говорил, что наука, спущенная в народные массы, превратилась в несколько примитивных и вредных мифов. То же случилось и с философией: она превратилась в идеологию. При таком превращении по необходимости отбрасывается всякий скепсис, потому что средний человек жаждет не понимания, а *спасения*. Далее, философия упрощается, чтобы сделать ее общепонятной: выбрасываются все тонкости, доказательная часть заменяется назойливым повторением выводов, а критическая — бранью по адресу любой другой философии, изображаемой в виде карикатуры. Наконец, в такой упрощенной философии резко подчеркивается — или искусственно к ней пристегивается — оптимистическая панацея от всех бедствий, единственно правильный план общественного спасения. Это откровенно объясняется в подлинном тексте "Интернационала":

Il n'est pas de sauveurs suprêmes:
Ni dieu, ni César, ni tribun;
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes!
Décrétons le salut commun!

(Нет верховного спасителя, / ни бога, ни цезаря, ни трибуна, / трудящиеся, спасем себя сами, / декретируем общественное спасение!)

В последние сто лет господствующей идеологией был социализм. В своей первоначальной западной форме эта идеология добилась серьезных успехов в некоторых странах Европы, особенно в Скандинавии; она зашла в тупик, потому что в ней осталось очень уж мало философии: достигнув ближайших экономических целей, она попросту не знает, что ей дальше делать. В Италии и Германии возникли гибридные идеологии, пересадившие некоторые догмы социализма на почву регрессивного племенного сознания. В России же, а затем в Китае, идеология социализма, привитая к наивному сознанию народов иной исторической судьбы, произвела самые разрушительные воздействия, потерпела поражение в своих интернациональных планах и теперь ищет спасения в той же племенной регрессии.

Естественно, "кризис идеологии" рассматривается как кризис человеческого разума, дискредитирующий идею прогресса. *Сознательное* вмешательство человека в общественные дела объявляется недопустимым *самоволием*; рекомендуются вернуться к формам человеческих отношений, установленных богом. Иначе говоря, законными объявляются лишь те учреждения, происхождение которых теряется в доисторической мгле: племя и племенной вождь, преемниками которых считаются национальное государство и самодержавная монархия.

Так возникает новая идеология — *идеология поражения человека в его исторической борьбе*. Я займусь дальше философией, из которой она произошла: это известная религиозная философия начала века. Конечно, исходная философия никогда не была так примитивна и прямолинейна. Солженицын так относится к Бердяеву, как Ленин к Марксу. С той разницей, что Ленин всегда ссылается на учителя.

Но вернемся от философии к литературе. Главное течение литературы всегда было проникнуто гуманизмом, сочувствием к униженным и оскорбленным. Ему чуждо было национальное высокомерие, национальная исключительность. Иначе и не могло быть, потому что в основе русской литературы было христианское отношение к человеку, унаследованное из двух источников: из русской религиозной традиции и из европейских либеральных и социальных доктрин. Вряд ли надо объяснять, как эти источники слились воедино у Щедрина, с его *фурьеризмом*, или у Толстого, с его поисками универсальной правды во всех религиях. Человек, к которому обращалась русская литература, был русский интеллигент.

Солженицын к этому главному течению русской литературы не принадлежит, потому что он не интеллигент и не гуманист. Конечно, в манере письма, в технических приемах Александр Исаевич происходит от классической русской литературы. Иногда он кажется сам себе старомодным и затевает смешные формальные эксперименты, но провал этих затей лишь подчеркивает его техническую традиционность. Есть и более важная зависимость Александра Исаевича от русской литературной традиции: его серьезное отношение к писательскому ремеслу. Он очень далек от игрушечной литературы нынешнего Запада, развлекающейся обыгрыванием изолированных фрагментов действительности или любительской психиатрией. Он верит, что литература – серьезное общественное дело, веру эту он унаследовал у старых русских писателей и воплотил в своих лучших работах. И все же подлинным наследником русских классиков его считать нельзя. Для этого Солженицыну недостает самого главного: ему недоступно духовное содержание русской литературы, потому что он не свободен духовно, поработен мещанским сознанием. До подлинной любви к ближнему он не дорос. В идейном смысле Солженицын продолжает Достоевского – вернее, худшее, что было у Достоевского и что не получило до сих пор ясной оценки. Бердяев видел это в Достоевском, но недооценил и не проследил до конца: не удивительно, потому что критическое отношение к предмету предполагает известную подвижность по отношению к этому предмету, возможность посмотреть на него с разных сторон, а это неудобно, если стоишь перед ним на коленях. Дело в том, что Достоевский происходил из мещанской среды и был неизлечимо поражен мещанскими вкусами и предрассудками. Отсюда его столь редкое в русской литературе залихватское презрение к инородцам, всюду пробивающееся в его романах и составляющее юмористическое сопровождение к основной мелодии – к его истерически-неуверенному, претенциозно-вымученному христианству. Были у русских литераторов и вещи похуже, на грани литературы и доноса. Я имею в виду не "Бесов", а другое, неохотно вспоминаемое дело. Начал это дело известный русский писатель и автор знаменитого словаря Владимир Даль. Датчанин по происхождению, он был крупный чиновник и неистовый русский националист. Чувство это шло иногда вразрез со службой, поскольку самодержавие подозрительно косилось в ту пору на такую слишком уж крикливую народность. Легко догадаться, что Даль был антисемит. Он собрал всевозможные свидетельства о ритуальном употреблении христианской крови, не брезгуя мифами средневековья и отдав должное реликто-

вым процессам восемнадцатого века; сочинение это было напечатано в небольшом числе экземпляров, как теперь сказали бы, для служебного пользования. Брошюра была вручена государю, членам царской фамилии и Государственного совета. Николай Павлович не счел эту инициативу заслуживающей внимания, но сочинение Даля не осталось неизвестным русской публике: впоследствии оно было дважды перепечатано, в первый раз в журнале "Гражданин" в конце семидесятых годов, незадолго до первой в России волны еврейских погромов. Достоевский был сотрудником и одно время редактором этого журнала, а о направлении его можно узнать по "Дневнику писателя", где при всякой возможности прорывается свойственный этому автору неудержимый, как теперь сказали бы, зоологический антисемитизм. Конечно, нельзя усмотреть здесь прямую связь с погромами, но, как всегда думали русские интеллигенты, вопрос об ответственности писателя этим не снимается. Я позволю себе присоединиться к их мнению.

Мы видим, что русская литература не всегда была на стороне униженных и оскорбленных. Были в ней и другие тенденции, вовсе не христианские, и даже не гуманные, а близко подходившие к тому, что русские интеллигенты назвали впоследствии "кровавым наветом". Усилия Даля и Достоевского, в конечном счете, едва не увенчались успехом: в начале двадцатого века Россия увидела ритуальный процесс средневекового типа, и если бы не сопротивление тех же русских интеллигентов, то увидела бы и средневековый приговор. Было в русской литературе такое, почти забытое течение. И вот является Солженицын со своей версией русской революции, которая оказывается вовсе не русской, а еврейской.

Если верить описанному в "Цюрихе", то непонятно, почему Александр Исаевич призывает Россию к покаянию: ей отводится роль беззащитной жертвы некоего зловещего заговора. История представляется в виде жуткого детективного романа, имитирующего известные образцы этого жанра. Я имею в виду "Протоколы сионских мудрецов", состряпанные в русской полиции из иностранной бульварной литературы.

Упорное, мстительное недоброжелательство Солженицына ко всем инородцам — евреям, полякам, латышам, мадьярам — объясняется вовсе не историей революции, да и вообще не связано с идейными причинами. Инородцев этих он просто не любит, как не любят их миллионы людей вокруг нас, и дело тут совсем не в революции, а в социальной психологии мещанства. Пиетет перед Солженицыным, созданный его бесспорным мужеством и заслугами, ореол святости, гораздо менее ему под-

ходящий, — все это мешает увидеть в нем самые простые вещи, которые сам он не умеет как следует скрыть.

Получается, что Солженицын расист и антисемит? Да, расист, и в особенности антисемит. При всем остальном. И потому не христианин, а всего лишь православный.

* * *

Часто забывают, что "православный" — лишь прилагательное к существительному "христианин". Те, в ком нет этого существительного, изо всей силы цепляются за прилагательное и сооружают себе удобное бытовое православие без Христа. Сказано, что для Христа "нет ни еллина, ни иудея". Но для православия этого толка отношение к евреям всегда было камнем преткновения. Желательно иметь национальную церковь и освятить этой церковью национальные идеалы. А тогда еврейство Христа и апостолов представляется невыносимым скандалом. Это и есть "всего лишь православие". Если же принимать христианство всерьез, то отношение русского народа к евреям, причиненные им обиды и унижения дают первейший повод для всенародного покаяния, о котором хлопочет Александр Исаевич. Лютеране в Германии каялись после войны, католики не сочли нужным. Верно и то, что вина России не столь еще велика, так что с покаянием можно еще повременить.

Должен сознаться, что чувство вины перед еврейским народом тревожит меня гораздо больше, чем это должно быть по моим убеждениям. Я признаю только личную ответственность человека, но не ветхозаветный племенной грех. По-видимому, Александра Исаевича такое чувство вины не тревожит. Во всяком случае, он неизменно проводит мысль, что надо разделить людей по национальным куриям, и пусть каждая нация решает свои дела, не вмешиваясь в дела чужих. Потому что люди других наций для него и в самом деле чужие. Никто не вправе навязывать Александру Исаевичу любовь к ближним в недоступных для него пределах, и мы не требуем от него никакого при творства. Мы добиваемся только ясности: перед нами то самое, что на Западе называется расовой сегрегацией. Далее, Александр Исаевич полагает, что русская нация пострадала больше всех других и потому имеет право на преимущественное внимание. И хотя он прямо не говорит, от кого русские так пострадали, но ясно, что не столько от собственной простоты, сколько от хитрой и злой воли чужих. Поэтому Александр Исаевич не склонен входить в обиды других наций. Пусть они заботятся о себе сами.

Трудно представить себе что-нибудь более вредное для России, какой мы хотим ее видеть. Понимает ли Александр Исаевич, что он творит? Пожалуй, нет: о *сознательных* позициях Солженицына мы еще дальше поговорим. Думаю, что девятый круг ада предназначен для *сознательных* сеятелей раздора, да и вообще грешников судят, вероятно, не по возможным последствиям их поступков. Если здесь нет богословской ошибки, то Александр Исаевич останется в *первом* круге.

* * *

Как я уже говорил, источником всей идеологии А.И. Солженицына является русский философ Бердяев. К сожалению, общественные и политические взгляды Бердяева у нас мало известны, а статьи его, где они высказаны с полной ясностью, надо искать, главным образом, в журналах, выходявших в годы первой мировой войны. Я позволю себе выписать из статей Бердяева некоторые характерные места. Читатель, знакомый с сочинениями А.И. Солженицына, легко узнает его излюбленные идеи. В первоисточнике они представлены лучше, чем в "Августе" или в совсем уже слабой публицистике Александра Исаевича, написанной вычурным, искусственным языком.

Итак, обратимся к истокам русского национализма.

"Русская национальная мысль, — пишет Бердяев, — чувствует потребность и долг разгадать загадку России... Русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России. Идет это от старой идеи Москвы, как Третьего Рима, через славянофильство — к Достоевскому, Владимиру Соловьеву и к современным неославянофилам".

"*Душа России*".

Национальное самоутверждение хочет опереться на культурные достижения нации. Если другие нации их не признают, придется им эти ценности навязать:

"На Западе еще не почувствовали, что духовные силы России могут определять и преобразовать духовную жизнь Запада, что Толстой и Достоевский идут на смену властителям дум Запада для самого Запада и внутри его. Русское государство давно уже признано великой державой, с которой должны считаться все государства мира. Но духовная культура России, — то ядро жизни, по отношению к которому сама государственность есть лишь поверхностная оболочка и орудие, не занимает еще великодержавного положения в мире. Дух России не может

еще диктовать народам тех условий, которые может диктовать русская дипломатия. Славянская раса не заняла еще в мире того положения, которое заняла раса латинская или германская. Вот что должно в корне измениться после нынешней великой войны... Творческий дух России займет, наконец, великодержавное положение в мировом духовном концерте. Бьет тот час мировой истории, когда славянская раса во главе с Россией призывается к определяющей роли в жизни человечества”.

”Душа России”.

Национальные связи важнее всех других. Вот подлинное кредо всякого национализма:

”Можно и должно мыслить исчезновение классов и принудительных государств в совершенном человечестве, но невозможно мыслить исчезновение национальностей. Нация есть динамическая субстанция, а не преходящая историческая функция, она корнями своими врастает в таинственную глубину жизни. Национальность есть положительное обогащение бытия и за нее должно бороться, как за ценность. Национальное единство глубже единства классов, партий и всех других преходящих исторических образований в жизни народов. Каждый народ борется за свою культуру и за высшую жизнь в атмосфере национальной круговой поруки”.

”Национальность и человечество”.

Надо полагать, в число этих ”преходящих исторических образований в жизни человечества” Бердяев не включает религию. Христианства во всем этом нет, это имитация язычества, стоящая ниже Ветхого Завета. Во всяком случае ясно, что в бердяевском расписании приоритетов Евангелие должно уступить место национальным задачам. Оказывается, *”Евангелие не есть закон жизни”*. Вот полный набор софизмов, позволяющих отделаться от этого неудобного закона:

”В историческом теле, в материальной ограниченности невозможна абсолютная божественная жизнь. Мы живем в насилии, поскольку живем в физическом теле. Законы материального мира — законы насилия. Абсолютное отрицание насилия и войны возможно лишь, как явление глубоко индивидуальное, а не как норма и закон. Это предполагает одухотворение, побеждающее ”мир”, и его родовой закон, просветление тела человеческого нездешним светом. Но к жизни в материи этого мира нельзя применить абсолютного, как закон и норму. За-

конническое применение абсолютного к относительному есть субботничество, заклеянное Христом... Нельзя достаточно сильно подчеркивать, что абсолютная Христова любовь есть новая благодатная жизнь духа, а не закон для относительной материальной жизни”.

*”Психология войны и смысл войны.
Мысли о природе войны”.*

Гуманизм уже погиб, и не стоит о нем жалеть:

”Частно-общественное, гуманистическое мирозерцание расслабляет человека, отнимает у него ту глубину, в которой он всегда связан со всем ”историческим”, сверхличным, всемирным, делает его отвлеченно-пустым человеком. Так погибает и немая великая правда гуманизма. Поистине всякий человек есть конкретный человек, человек исторический, национальный, принадлежащий к тому или иному типу культуры, а не отвлеченная машина, подсчитывающая свои блага и несчастья. Все историческое и мировое в человеке принимает форму глубоко-индивидуальных инстинктов, индивидуальной любви к своей национальности, к национальному типу культуры, к конкретным историческим задачам”.

”О частном и историческом взгляде на жизнь”.

Справедливости нет места в человеческих конфликтах. Может быть, ее и можно требовать от индивида, но всякий голос справедливости должен умолкнуть, когда дело касается нации:

”Можно допустить, что Сам Бог предоставляет своим народам свободу в постановке динамических исторических задач и в их выполнении, не насилует их, когда они борются за творчество более высоких ценностей. И духовное преобладание в мире России, а не Германии, есть дело творческого произвола, а не отвлеченной справедливости...”

Существуют народы и страны, огромная роль которых в истории определяется не положительным, творческим призванием, а той карой, которую несут они другим народам за свои грехи. И всего более это можно сказать о Турции”.

Здесь невольно вспоминается предсказание городничего: ”Нам плохо будет, а не туркам”.

В политике всякие принципы неуместны, абстрактное морализирование мешает. Нужны сильные люди, бесстрашные перед словом:

”Наша принципиально-отвлеченная политика была лишь формой ухода от политики. В политике все бывает ”в частности”, ничто не бывает ”вообще”. В политике ничего нельзя повторять автоматически в силу принципа. Что хорошо в одно историческое время, то плохо в другое, что хорошо в одном историческом месте, то плохо в другом. Каждый день имеет свои неповторимые и единственные задачи и требует искусства... России больше всего недостает людей с дарованием власти, и такие люди должны явиться... Бесстрашие перед словами — великая добродетель”.

”Слова и реальности в общественной жизни”.

Законным средством политики является война — совсем не обязательно оборонительная война. Следующий отрывок вполне объясняет уважение, с которым относились к Бердяеву нацисты (видевшие в нем лишь одну сторону, но существенную и неотделимую от его мышления!):

”Элементарно-простое отрицание войны базировалось на разных отвлеченных учениях, как гуманитарный пацифизм, международный социализм, толстовское непротivление и т.д. Подход к проблеме войны всегда был отвлеченно-моралистический, отвлеченно-социологический или отвлеченно-религиозный... Творческие исторические задачи выпадали из поля зрения исключительно моралистического сознания. В результате наших успешных оправданий войны, или точнее наших самооправданий, получился один вывод: мы лучше немцев, нравственная правда на нашей стороне, мы защищаемся и защищаем, немцы же в нравственном отношении очень плохи, они — насильники, в них — дух антихристов. Вывод этот не очень богатый и не очень глубокий. Но лишь в силу этого нравственного суждения мы признали возможным воевать... Мало кто стал на точку зрения борьбы рас...”

В поединке необходимо уважение к противнику, с которым стало тесно жить на свете. Должно это быть и в поединке народов... Мировая борьба народов в истории определяется не моральными прерогативами. Это — борьба за достойное бытие и исторические задачи, за историческое творчество. Справедливость есть великая ценность, но не единственная ценность. И нельзя оценивать историческую борьбу народов исключительно с точки зрения справедливости, — существуют и другие оценки. Национальные тела в истории образуются длительной, мучительной и сложной борьбой. Историческая борьба есть борьба за бытие, а не за прямолинейную справедливость, и осуществля-

ется она совокупностью духовных сил народов. Эта борьба за национальное бытие — не утилитарная борьба, она всегда есть борьба за ценность, за творческую силу, а не за элементарный факт жизни, не за простые интересы. Можно сказать, что борьба народов за историческое бытие имеет глубокий моральный и религиозный смысл, что она нужна для высших целей мирового процесса. Но нельзя сказать, что в этой борьбе один народ целиком представляет добро, а другой народ целиком представляет зло. Один народ может быть лишь относительно более прав, чем другой. Борьба за историческое бытие каждого народа имеет внутреннее оправдание. Я могу признавать правоту своего народа в мировой войне, но это не есть правота исключительных нравственных преимуществ, это — правда творимых исторических ценностей и красота избирающего Эроса...

Дело идет о мировом духовном преобладании славянской расы. Мне неприятен весь нравственный склад германца, противен его формалистический пафос долга, его обоготворение государства, и я склонен думать, что славянская душа с трудом может перенести самые нравственные качества германцев, их нравственную идею устройства жизни. И я хотел бы бороться с германцами за наш нравственный склад, за наш духовный тип. Но это менее всего значит, что война подлечит расценке с точки зрения моральных прерогатив противников. Война апеллирует не к моральной справедливости, а к онтологической силе. Преобладание славянского нравственного склада над германским нравственным складом совсем не есть проблема справедливости. Это скорее проблема исторической эстетики”.

”О правде и справедливости в борьбе народов”.

Теперь мы можем лучше понять идеологию ”Августа”. Кажалось бы, зачем воевать с немцами, если нет к ним особенной ненависти, если у них можно даже многому поучиться? Идеология, с которой мы здесь имеем дело, как будто не требует ненависти в войне. На первый взгляд это выглядит возвращением к рыцарскому восприятию войны. Но в рыцарские времена не было *наций* в нынешнем смысле слова и феодальные войны не были национальными конфликтами, о которых здесь идет речь. *Национальная* идеология возвращает нас не к рыцарству, а к более древней традиции племенных распрей, когда *необходимо* было считать противника человеком худшей породы: это дает силу убивать.

Конечно, некоторые люди способны убивать и без ненависти, деловито исполняя свое ремесло. Но это совсем не похоже на рыцарские поединки. Двадцатый век научил нас, что получается из этой национально-рыцарской болтовни.

Но вернемся к Бердяеву, чтобы понять все это до конца. Хотите ли знать, отчего возникают войны? Потому что война есть закон мироздания, любимое развлечение творца:

”И на небе, и в иерархии ангелов, есть война. Войны могут быть духовными, войнами духов. Духи добрые сражаются с духами злыми, но вооружения их более тонкие и совершенные”.
”Движение и неподвижность в жизни народов”.

”Можно сказать, что война происходит в небесах, в иных планах бытия, в глубинах духа, а на плоскости материальной видны лишь внешние знаки того, что совершается в глубине... Война есть имманентная кара и имманентное искупление. В войне ненависть переливается в любовь, а любовь в ненависть. В войне соприкасаются предельные крайности и дьявольская тьма переплетается с божественным светом. Война есть материальное выявление исконных противоречий бытия, обнажение иррациональности жизни. Пасифизм есть рационалистическое отрицание иррационально-темного в жизни. И невозможно верить в вечный иррациональный мир. Недаром Апокалипсис пророчествует о войнах. И не предвидит христианство мирного и безболезненного окончания мировой истории. Внизу отражается то же, что и наверху, на земле то же, что и на небе. Наверху, на небе, ангелы Божьи борются с ангелами сатаны. Во всех сферах космоса бушует огненная и яростная стихия и ведется война. И на землю Христос принес не мир, а меч”.

*”Психология войны и смысл войны.
Мысли о природе войны”.*

Перед нами версия христианства, о которой стоит призадуматься нашим новообращенным христианам. Может быть, они найдут в этой теме — и в ”Августе”, представляющем ее вариации — слишком уж много воинственного задора.

Теперь посмотрим, как решается пресловутый вопрос о слезинке ребенка:

”...Ценности исторические предполагают жертву людским благом и людскими поколениями во имя того, что выше блага и счастья людей и их эмпирической жизни. История, творящая ценности, по существу трагична и не допускает никакой остановки на благополучии людей. Ценность национальности в истории, как и всякую ценность, приходится утверждать жертвенно, поверх блага людей, и она сталкивается с исключительным утверждением блага людей, как высшего критерия. Достоинство нации становится выше благополучия людей...”

Сущность кризиса, совершающегося у нас под влиянием войны, можно формулировать так: рождается новое сознание, обращенное к историческому, к конкретному, преодолевается сознание отвлеченное и доктринерское, исключительный социологизм и морализм нашего мышления и оценок. Сознание нашей интеллигенции не хотело знать истории, как конкретной метафизической реальности и ценности. Оно всегда оперировало отвлеченными категориями социологии, этики или догматики, подчиняло историческую конкретность отвлеченно-социологическим, моральным или догматическим схемам. Для такого сознания не существовало национальности и расы, исторической судьбы и исторического многообразия и сложности, для него существовали лишь социологические классы или отвлеченные идеи добра и справедливости...

Русское сознание имеет исключительную склонность морализировать над историей, т.е. применять к истории моральные критерии, взятые из личной жизни”.

”Война и кризис интеллигентского сознания”.

Мы видим, что на место абстрактных социологических построений, направленных на благо отдельной личности, ставится конкретное национальное мировоззрение, которое этим благом жертвует и пренебрегает. Критика марксизма с этих позиций, по-видимому, не сулит лучшего будущего отдельному человеку: он по-прежнему останется орудием в политической игре. Что эта игра — политическая, можно не сомневаться:

”Русский империализм имеет национальную основу, но по своим заданиям он превышает все чисто национальные задания, перед ним стоят задачи широких объединений, быть может невиданных еще объединений Запада и Востока, Европы и Азии”.

”Национализм и империализм”.

Не следует думать, что русский империализм ставит себе целью спасение Европы:

”Конец Европы будет выступлением России на арену всемирной истории, как определяющей духовной силы”.

”Конец Европы”.

”Начинаются сумерки Европы”.

”Задачи творческой исторической мысли”.

Поскольку мировая война России не удалась, надо было найти виновных. За этим дело не стало:

”Вина лежит не на одних крайних революционно-социалистических течениях. Эти течения лишь закончили разложение русской армии и русского государства. Но начали это разложение более умеренные либеральные течения. Все мы приложили к этому руку. Нельзя было расшатывать исторические основы русского государства во время страшной мировой войны, нельзя было отравлять вооруженный народ подозрениями, что власть изменяет ему и предаст его. Это было безумие, подрывавшее возможность вести войну... Целое столетие русской интеллигенции жило отрицанием и подрывало основы существования России”.

”Мировая опасность ”.

Читатель узнает здесь излюбленный мотив Александра Исаевича, его главную историческую идею. Впрочем, и весь русский народ не может избежать осуждения:

”Русский народ не выдержал великого испытания войны. Он потерял свою идею”.

”Мировая опасность ”.

Почти теми же словами Адольф Гитлер выразил свои чувства к немецкому народу в последние недели войны. Я ценю Бердяева как философа, вижу в нем человека, но не могу избежать этого сравнения.

Читатель, без сомнения, убедился, что философия Солженицына не нова и не оригинальна. Впрочем, это не философия, а идеология: Александр Исаевич изготовил ее из философии Бердяева, взяв у него лишь то, что ему было понятно и удобно.

Вот еще несколько мыслей Бердяева, для этой идеологии непонятных и неудобных:

”Обращение к элементарному органическому прошлому, идеализация его, боязнь страдальческого развития есть малодушие и любовь к покою, леность духа. Только тот достигает свободы духа, кто покупает ее дорогой ценой бесстрашного и страдальческого развития, мукой прохождения через дробление и расщепление организма, который казался вечным и таким уютно-отрадным. В старый рай под старый дуб нет возврата”.

”Дух и машина ”.

”У нас не было здорового национального сознания и национального чувства, всегда был какой-то надрыв, всегда эксцессы самоутверждения или самоотрицания. Наш национализм

слишком часто претендовал быть мессианизмом древне-еврейского типа, яростного, исключительного и презрительного”.

”Национализм и мессианизм”.

”Старая националистическая политика была труслива и бессильна, она насильствовала от страха и в основе ее лежало неверие в великорусское племя. Но если в великорусском племени нет настоящей силы и настоящего духа, то оно не может претендовать на мировое значение. Насилие не может заменить силы. Отсутствие духа не может быть компенсировано никаким устрашением. Поразительно, до чего неверующими в Россию были всегда наши националисты. Их жесты были жемами бессилия”.

”Национализм и империализм”.

* * *

До сих пор я говорил о личности и взглядах Александра Исаевича, как они представляются по его литературным работам и журнальным статьям. Он написал еще часть своей биографии под названием ”Бодался теленок с дубом”. Это история опубликования ”Ивана Денисовича”, с дополнениями об аресте и высылке за границу. В книге рассказывается, как автор старался перехитрить разных чиновников и напечатать свой рассказ. Название вряд ли удачно: наш бюрократический аппарат не заслуживает сравнения с могучим деревом и, конечно, победа над ним одного решительного человека вызывает совсем иные заключения. История, описанная в ”Теленке”, поможет понять не только характер, но и склад ума Александра Исаевича. Склад ума у него, в общем, крестьянский, со всеми сильными и слабыми сторонами этого уже вымирающего типа: упрямым здравым смыслом, наивной хитростью и беспомощностью в сопоставлении понятий. Главная задача была обмануть Твардовского, редактора ”Нового мира”. Для этого надо было притвориться советским писателем, потому что малейшее проявление несветского подхода было бы для Твардовского неприемлемо, а других бы попросту испугало. Как правило, люди предпочитают о своих хитростях не рассказывать, но Александр Исаевич не без удовольствия описывает свои приемы. Наивность Александра Исаевича лучше всего видна, когда он рассказывает о себе. Можно оставить в стороне вопрос, насколько допустимо в наших условиях хитрить для хорошей цели: надо думать, что для нашего автора такая возможность вообще исключается, поскольку он рекомендует ”жить не по лжи”. Книга эта очень наивная. Когда Александр Исаевич принимается хитрить,

все сразу видно, и если ему удалось перехитрить Твардовского, то лишь по той причине, что тот был еще наивнее и просто не мог представить себе несуетски настроенного человека даже в бывшем ээке. Что касается других, не столь наивных членов редакции, то вся эта история нагнала на них страх, да и вообще печатание "Ивана Денисовича" оказалось возможным лишь при особом стечении обстоятельств.

Хитрость Александра Исаевича была в том, что он скрывал себя постепенно. Если не считать некоторых детских воспоминаний, он вырос советским человеком. Казалось бы, он должен был знать, что бывали и все еще встречаются люди, не согласные с советской властью. И все же он воспринял освобождение от советской системы взглядов как открытие некоей страшной тайны. Труднее понять, почему он придал столь важное значение своим позитивным достижениям: чтобы прийти к православию и монархизму, надо было попросту переменить все знаки на обратные, в том числе знак времени, а такая процедура к особенно глубоким результатам привести не может. Александр Исаевич, учившийся на математическом факультете, должен был это знать. Так или иначе, он стал православным и монархистом, но вначале скрывал и то и другое, притворяясь советским человеком, не выходя, критикующим отдельные недостатки. Потом, когда уже не было шансов напечатать "Корпус", он раскрыл свое православие. Монархизм его до сих пор остается эзотерическим учением, но хитрость эта довольно прозрачна, как и все другие. Конечно, не обязательно приписывать автору все, что говорит генерал Нечволодов или еще какой-нибудь персонаж, сам же Александр Исаевич не считает пока своевременным предложить России определенного кандидата на престол. В некотором смысле он реалист. Он видит, что русский народ не готов к самоуправлению и не понимает демократии, и это его не огорчает, потому что он не любит свободы и хочет для России попечительной власти. В парижском "Письме вождям" он выразился вполне определенно, назвав желательную для него власть "авторитарной". Само по себе выражение это бессмысленно (означает просто "властная власть"), но приобрело весьма злобеший смысл в тридцатые годы, когда оно применялось к фашистским диктатурам разного оттенка. Вероятнее всего, Александр Исаевич не знал, откуда происходит эта мрачная тавтология, и неосторожно употребил услышанные где-то слова. Так вот, он полагает, что Россия нуждается в твердой власти, и что власть эта может возникнуть лишь путем эволюции нынешнего режима. Откладывая на будущее свои монархические откровения, Александр Исаевич хотел бы заключить с москов-

ским правительством временное соглашение, некий "исторический компромисс". Для этого московские правители должны вспомнить, что они тоже русские люди, отбросить набившую оскомину марксистскую идеологию и откровенно признать в качестве идеологии русский национализм. Поскольку практика шовинизма уже существует и ею проникнут весь аппарат, Солженицын полагает, что не так уж трудно будет сменить словесный репертуар. Неясно, правда, каким образом смена лозунгов выведет Россию из экономического тупика. Здесь потребуются частная инициатива, а уж этого-то московские правители никак допустить не могут, потому что частная инициатива их немедленно сметет. Все это было очень наивно, и вожди на компромисс не пошли, хотя в аппарате имеется сильная струя внутреннего шовинизма, не так уж враждебно воспринимающего внешний. Когда частную инициативу придется в какой-то мере допустить, оба течения могут слиться, так что "письмо вождям" содержит некую, пока преждевременную политическую идею. Впрочем, когда эта идея созреет, аппарат может измениться в сторону западного прагматизма, а тогда частная инициатива потребует демократического оформления.

Поскольку из компромисса ничего не вышло, Александр Исаевич возложил свои надежды на внешнюю политику Запада, добиваясь поддержки "ястребов" и вообще крайне правых. Как мне кажется, он понимает, что политика "разрядки" означает верхушечный сговор над головами народов, конечная цель которого — экономическая колонизация России. Если он и не понимает этой конечной цели, то, во всяком случае, видит, что Запад поддерживает шатающийся режим займами, технической помощью и лицемерной пропагандой. Он чувствует, что публику надувают, и в этом прав. Если режим не идет на компромисс с православным шовинизмом, Солженицын желает ему скорейшего краха. Но, вероятно, он уже убедился, что и правые никуда не годятся. Он пытался воздействовать на американские профсоюзы и, взяв у кого-то уроки американской демагогии, пробовал говорить с профсоюзными боссами на понятном им языке. Теперь он выступает редко; за границей думают, что он не умеет говорить публично.

Политический реализм Солженицына не идет, впрочем, дальше сегодняшнего дня. Он хочет ослабить советский режим, чтобы вынудить его измениться, ищет для этого средства. Кажется, он понимает, что если просто распустить колхозы и раздать колхозникам землю, то из этого ничего не выйдет. Может быть, он возлагает надежды на православную "соборность". Насколько можно понять, слово это означает примерно то же, что

отношения в русской сельской общине, то-есть невыделенность личности из крестьянской массы. Если это и было преимуществом во время "Вех" (в чем тоже можно сомневаться), то *теперь* надеяться на православную соборность все равно, что запрягать в телегу призрак лошадей.

Не очень понятно, чего хочет Солженицын в национальном вопросе. Он напоминает полякам, что предки их нехорошо вели себя при Минине и Пожарском, и не может простить латышам, что латышские стрелки спасли советскую власть. Поскольку инородцы не хотят жить в России, он готов их отпустить, но в это я не верю. Шовинисты будут вести себя, как во все времена: они будут удерживать каждый кусок России, населенный каким угодно народом, будут удерживать любой кровью, и особенно — чужой. Недаром друзья его говорят уже не только о "национальном возрождении", но все более сладострастно повторяют заветное слово "империя"!

И в покаяние я тоже не верю. Покаяние для Солженицына — формальная процедура отпущения грехов, и притом не другим, а самому себе, иначе говоря, ритуальное очищение: в этом он человек вполне церковный. Что касается прощения других, то кто же в это поверит? Все разговоры его об инородцах, о людях других вкусов и мнений насыщены нетерпимостью, трудно сдерживаемым гневом. Вероятно, он видит мысленным взором эту Великую Церемонию, чинное и благолепное Всероссийское Покаяние, с молебнами, крестными ходами, колокольным звоном... И горе тому, кто не снимет шапку!

Новой историей он недоволен. Надо повернуть историю вспять, устроить новое средневековье, но желательно без татар. И если допетровская Русь не была так хороша, как хотелось бы, почему бы не сделать ее совсем хорошей, подлинно допетровской? То есть взять тот же прогресс, но повернуть его назад?

Он не верит в будущее, мечтатель, проживающий в штате Вермонт. Он пытается переиграть былое. Живые люди, населяющие Россию, его раздражают. Иные ходят в церковь, но он не видит в них веры. Говорят они так же, как он, но он знает, что они лгут. Другие в церковь не ходят, и он не видит их веры. Он не слышит их правды, никакой правды, кроме своей.

Пророческого дара в нем нет. Он не видит, не внемлет и не живет грядущим. Он утопает в прошлом. И я думаю, что ему очень плохо.



Борис Гройс

НЕМНОГО О ПЛЮРАЛИЗМЕ

Современная западная цивилизация плюралистична, но, сознаваясь в этом, чувствует себя, как правило, несколько неловко: плюрализм и по сей день как-то связан в общественном сознании с беспринципностью. Действительно, возникает вопрос: зачем придерживаться принципа множественности истин, если мир, в котором мы живем, един, и следовательно, и истина должна быть едина? Либо эта единая истина уже известна и тогда плюрализм есть просто бессмысленное упрямство и своеволие, либо она неизвестна — но тогда надо ее искать, а не лезть и не коснеть в плюрализме.

Между тем исходный тезис о единстве мира далеко не так очевиден, как кажется. Неживая, живая и мыслящая природы традиционно образовывали различные "царства", и законы одних царств признавались не похожими на законы других. Уже здесь можно наблюдать известный плюрализм, который в учениях древности приводил к различению соответствующих уровней и в жизни людей: жизни чувственной, активной и созерцательной — обладающих каждая своим специфическим законом.

Но в учениях древности единство мира еще как-то восстанавливалось через иерархизацию этих уровней. В наше время, однако, приходится наблюдать неиерархизируемые миры. Возьмем для примера мир современной физики и мир водуистской магии. В мире современной физики присутствуют атомы и элементарные частицы, в мире водуистской магии — заклинания и тонтон-макуты. Внутри каждого из этих миров можно осмысленно утверждать те или иные истины, но бессмысленно спрашивать, какой из этих миров более истинен — это просто разные два мира. Иллюзорное превосходство современной физики базируется только на том, что предполагается, что если сбросить на водуиста атомную бомбу, то никакие заклинания ему

не помогут. Но, во-первых, это не очевидно, а, во-вторых, формулы, по которым построена атомная бомба, могут быть поняты как особо эффективные водуистские заклинания, против которых другие заклинания уже не помогают.

Из этого примера становится ясно, что то, что мы часто склонны понимать как различные "описания мира", суть именно различные миры: каждый из таких миров состоит из многих вещей, которых в других мирах нет. Внутри каждого из миров наличествуют критерии, по которым можно определить, истинно какое-либо положение или нет. Но нет таких критериев, по которым можно было бы определить, "истинен" ли данный мир или целое или нет. Мир не есть какое-то словесно выраженное утверждение, которое можно опровергнуть. Мир — это "факт", это определенная человеческая практика, и его можно уничтожить только вместе с людьми, его населяющими. Однако и это решение — так часто применявшееся в истории — оказалось, как известно, в конечном счете неэффективным.

Плюрализм часто определяется (и осуждается) как разорванность между людьми, живущими в различных мирах. Классическое Просвещение пыталось преодолеть эту разорванность средствами логики, которую оно считало универсальной, но эта попытка породила лишь новые миры — миры современной науки. Позднее разобщенность пытались преодолеть в чувстве — через празднество, "дионисийский экстаз". В результате получилось то, что сейчас называют миром "альтернативной культуры". На фоне этих неудач естественным выглядит проект преодолеть разобщенность людей через тоталитарное государство, т.е. путем простого уничтожения всех миров в пользу одного. Неудача и этого проекта демонстрирует ложность его исходной предпосылки. Внутренняя связь между всеми мирами существует изначально и бессмысленно поэтому стремиться специально ее устанавливать.

Каждый мир в нашей плюралистической культуре входит некоторым объектом, элементом почти во все остальные миры, и если его из них изъять, то эти миры начинают разваливаться. Так, наука стоит в весьма сложных отношениях к колдовству, которое она постоянно имеет в виду в своем развитии — и как позитивный, и как негативный идеал. Но это сложная тема, которая может завести обсуждение в сторону. Возьмем более наглядный пример: абстрактное искусство. Очевидно, что к произведениям изобразительного и абстрактного искусства не приложим один и тот же критерий качества: здесь речь идет о разных мирах. Между тем известно также, что в те периоды новейшей истории, когда реалистическое искусство почти исчезало

со сцены, абстрактным искусством овладевала настоящая паника. Художники начинали видеть реализм, "присутствие природы" и там, где раньше им виделась чистая абстракция. В конце концов некоторые из них впадали в такое отчаяние, что отказывались от искусства вообще и уходили в чистую повседневность. Причина ясна: абстракция возможна лишь как абстракция от чего-то. Если этого "чего-то" нет, то она начинает абстрагироваться от самой себя.

Аналогичную картину являет собой и новейшая политическая история. На Западе марксисты спокойно живут в марксистском мире: они борются за то, за что им следует бороться; когда у них случаются неприятности, то они знают, что это их гнетут темные силы, а когда у них выпадает светлый денек, то они понимают, что логика истории на их стороне. Весь этот уютный мир разрушился, однако, во мгновение ока, когда они приступили к уничтожению того, что они считали чужим, но что оказалось их собственным. Марксист только тогда марксист, когда у него есть все, что марксисту полагается иметь. И вот растерявшиеся советские марксисты начали судорожно восстанавливать все то, что ставили себе целью уничтожить, т.е. все то, что, по их мнению, являлось делом буржуазии — а именно, обезземеливание крестьянства, выжимание прибавочной стоимости из рабочих, завоевательные войны и т.д. Параллельно они стали искать вокруг себя и в себе самих "зачатки буржуазной идеологии", пока не поставили себя на грань уничтожения, и лишь тем спаслись, что перестали быть марксистами в собственной стране, — а остались ими лишь за рубежом, где буржуазия еще, слава Богу, сохранилась.

Марксизм не является в этом отношении каким-то исключением. Любая попытка утвердить свой собственный мир как единственный, приводит к аналогичным последствиям. Такая попытка неизбежно оказывается перед следующей альтернативой: либо она последовательно разрушает другие миры и тогда саморазрушается, либо, чтобы сохранить себя, оказывается вынужденной сама восстановить все те миры, которые сулилась разрушить. Даже Церковь не избежала этой дилеммы: как и всякая ортодоксия вообще, церковная ортодоксия может быть рассказана только как история борьбы с ересями. Тем самым ортодоксия содержит все ереси в себе. Инквизиция является хорошим примером того, чем становится Церковь, если мирское — хотя бы это был даже мир ее собственной ортодоксии — пытается вытеснить из ее жизни духовное начало. Невытеснимость этого начала как раз и сказывается в невозможности описать замкнутый мир из самого себя — даже если бы по-

гибли все книги, кроме истории КПСС, по одной этой книге можно было бы восстановить все миры человеческой культуры, ибо эта история есть история их отрицания. Абсолютное отрицание хотя бы от одного из миров, немедленно приводит к неврозу. Хорошим примером тому является нынешняя ситуация в русской эмиграции. Оставшись без советской власти и поклявшись преодолеть всяческий советизм как "абсолютное зло", эмигрантские писатели немедленно стали обнаруживать советизм друг у друга, а также — хотя в этом и не так охотно признаются — и у самих себя, подчинившись тем самым сформулированной выше логике суперуничтожения миров и одновременного их восстановления.

Плюрализм не является таким образом результатом культурного декаданса, приводящего к исчезновению единого идеала, каким его часто стараются представить. Плюрализм есть онтологическая реальность, которая остается таковой, признают ее или нет. Мышление отдельного человека и всего общества можно считать настолько зрелым, насколько оно эту реальность признает. Признание плюрализма миров тождественно в то же время отрицанию мирского как последней реальности, т.е. утверждению приоритета духовного начала. Всякое утверждение какого-либо мира в качестве единственного и последнего горизонта человеческого существования, делает человека пленником этого мира, его неотъемлемой частью и таким образом подчиняет человека "князю мира сего", который — о каком бы мире ни шла речь — всегда один и тот же. Осознание плюрализма миров открывает для человека возможность дезертировать из любого из наличных миров и, приобшившись к той духовной силе, которая в конечном счете их всех создала и поддерживает, создать свой собственный мир — разумеется, если он не примется уничтожать все остальные.

В современной русской эмигрантской прессе часто можно встретить возражения против плюрализма — политически, а не онтологически понятого — с позиций национализма. Как кажется, эта полемика основана на недоразумении. Национализм возник в Европе как результат Великой французской революции. Дореволюционная Европа не была и не могла быть националистической: аристократии европейских стран состояли друг с другом в родственных связях и чувствовали большую дистанцию от собственных народов, чем друг от друга. Национализм возник как первый кризис Просвещения и демократии. Просвещение полагало, что различие миров есть только различие мировоззрений и что следует преодолеть это различие и выйти к "вещам как они есть на самом деле" и к "единой воле всего

народа". Национализм стал значительным шагом вперед сравнительно с иллюзиями Просвещения: он показал, что "единая воля" обладает лишь относительным единством в пределах некоторого конкретного мира национального сознания. Национализм стал тем самым первой формой плюрализма — но далеко не последней. Очень скоро выяснилось, что каждый мир национального языка представляет собой конгломерат многих локальных классовых, групповых, идеологических и т.д. миров вплоть до миров индивидуальных. Таким образом в пределах плюрализм означает право каждого на свой мир и язык, хотя, разумеется, далеко не каждый способен создать их для себя. Национализм, если он отрицает это право, просто останавливается на полдороге.

Современные плюралистические государства Запада очень мало похожи на демократии, как их представляли себе просветители: достаточно сказать, что для Руссо предпосылкой демократии являлось запрещение политических партий. Эти государства управляются не столько народом, сколько мощными бюрократическими аппаратами, которые следят за тем, чтобы в этих государствах сохранялся определенный баланс между различными группами населения: бюрократия заинтересована в сохранении этого баланса, создававшегося столетиями, поскольку только в этом балансе источник ее власти. Как это ни может показаться парадоксальным, современный Запад больше похож на Римскую империю и великие империи Востока, чем на афинскую демократию. Российская империя — нынешняя и прошлая — еще более по существу своему плюралистична, чем национальные государства Запада: в ней больше народов и социальных групп и они хуже умеют улаживать свои конфликты. В этом состоит отчасти легитимация правящей сейчас в СССР бюрократии: она уравнивает различные силы в стране тем, что старается их все одновременно и, по мере возможности, равномерно подавлять. К сожалению, других приемов балансирования ей выработать не удалось.

Еще чаще и еще более решительно, чем с позиции национализма, плюрализм обычно атакуется с позиции "христианства". Утверждается, что плюрализм есть лишь красивое слово, которое прикрывает отход от единой христианской истины и, более конкретно, прикрывает бунт против морали и ответственности в пользу личных эгоистических интересов. Приходится, однако, признать, что и эта критика основана на недоразумении.

Плюрализм предполагает не столкновение различных интересов в рамках какого-то единственного и единого для конкурирующих сторон мира — как то предполагает, например,

классическая "капиталистическая" модель, — а взаимодействие различных миров. Цели, которые ставят себе люди, живущие в одном из таких миров, людям из других миров могут быть просто непонятны: о конкуренции и эгоистических интересах здесь, следовательно, не может быть и речи. Эгоизму противостоит, как известно, мораль. Но любая мораль — как и любая истина — ограничена рамками определенного мира, определенными критериями морального и неморального. Если мораль одного мира начинает навязывать себя другим мирам, то она становится еще более опасна, чем даже так называемые эгоистические побуждения. Нет морали, которая стояла бы над миром, всякая мораль скована тем миром, который ее определяет, и в другом мире неотличима от эгоизма и воли к власти. Поэтому мораль в плюралистическом обществе должна быть ограничена законом. И для закона должно быть безразлично, нарушен ли он из целей выгоды или из лучших побуждений и из морального негодования. Онтологический плюрализм предполагает, что закон стоит выше морального идеала.

Часто говорят, что западный плюрализм возник потому, что человек возгордился, взбунтовался против Бога и переоценил себя. Невозможно вообразить себе ничего более далекого от истины. Западная цивилизация возникла, напротив, из глубокого недоверия к человеку. В западных странах человек — в том числе и люди, власть предержавшие, что и создает иллюзию свободы, — со всех сторон ограждены различными преградами, не дающими возможности навредить своим ближним. Человек чувствует себя увереннее и независимее на Западе, чем на Востоке, не потому, что у него больше возможностей для осуществления своих целей, а потому, что у других меньше возможностей сделать его самого орудием чуждых ему целей. Даже самые благие намерения вызывают у западного человека приступ недоверия — и даже именно в первую очередь благие намерения — и любые благородные проекты немедленно вызывают средства защиты от них. Не зря русские философствующие путешественники от Герцена до Вяч.Иванова воспринимали Европу как огромную тюрьму, в которой человеку никак нельзя "по своей воле пожить". Вся история европейской мысли Нового времени есть именно история запирания человека в тюрьму: от галилеевской механики до западного марксизма и психоанализа. Естественно, что вчерашние узники ГУЛага, оказавшись в этой новой тюрьме плюралистической культуры, в которой на все их благородные порывы и убеждения поставлены надсмотрщики, негодуют и надеются вырваться из этой тюрьмы, воззвав к спасительному призыванию русского народа, который, не прой-

ДЕВА И МОНСТР

Жил-был на свете монстр, настоящее Чудовище без всяких эквивок, которого Бог регулярно посылал в столицу мира — в наказание за развратное поведение тамошних жителей. Раз в сто лет Чудовище появлялось в городе, чтобы проглотить самую прекрасную девицу эпохи. Деву, которую старейшины выбрали в качестве жертвы нашего века, звали Девой, поскольку она была единственной девственницей среди совершеннолетнего населения развратников. Согласно неписанному закону, Чудовище должно было проглотить Деву на седьмой день после своего появления — не раньше и не позже. Дева, естественно, рыдала не переставая, проклиная свой век, местное население и его старейшин. Старейший из старейших пытался утешить Деву и направить ее на путь истинный. "Подумай сама", говорил он, "по закону Чудовищу запрещено касаться тебя целых семь дней. За семь дней можно свершить много чего полезного. Бог создал целую Вселенную всего за шесть дней!" Но Дева была неутешна: "Интересно", спросила она провокационно, "а что Бог делал на седьмой день?" И старейшему из старейшин пришлось признаться: "На седьмой день Бог сокрушался и плакал при виде творения рук своих. Поэтому Он и наслал на нас это Чудовище". Дева задумалась. Собравшись с мыслями, она отправилась к пещере на краю города, в которой временно, облизываясь в ожидании седьмого дня, проживало Чудовище. Войдя в пещеру, Дева, ни слова не говоря, надела на шею Чудовища тяжелую цепь, взяла в руки хлыст и погнала его по улицам столицы. Она хлестала его кнутом, плевалась в него, обзывала его нехорошими словами и вообще всячески измывалась над ним на глазах у всех местных жителей. И Чудовище

должно было все это сносить, поскольку по закону оно не имело права касаться Девы до исхода седьмого дня. И так продолжалось шесть дней.

При виде этой ничем неоправданной жестокости местные жители день ото дня все больше и больше проникались сочувствием к Чудовищу и все меньше и меньше жалели Деву, превращавшуюся у них на глазах в настоящего монстра. На второй день все они забыли о том, что на исходе седьмого дня Чудовище собирается проглотить Деву; они обсуждали лишь моральное уродство, полное забвение патриотического долга и духа жертвенности среди молодого поколения. Каждый вечер они толпой тянулись к пещере Чудовища, пытаясь продемонстрировать ему, что не все на свете такие монстры, как Дева; они стали регулярно снабжать его различными медикаментами для более эффективного зализывания ран и рубцов на его шкуре от хлыста Девы.

На закате седьмого дня, когда Дева возвратилась с Чудовищем на цепи в пещеру, она обнаружила у входа всех жителей города, молящихся и прославляющих Чудовище; в их глазах Чудовище стало первым за столетие мучеником, благодаря которому они встали на путь раскаяния. Увидев тысячи прославляющих его в молитве людей, Чудовище растрогалось настолько, что встало на колени и попросило Деву, чтобы та разрубила его на куски и тогда Чудовище вечно будет жить в сердцах людей. Но Деву, ставшую свидетельницей такого религиозного обожания и культа личности, охватило такое страшное чувство зависти, что она отказалась убить Чудовище. "Это незаконно", возмущалась она. "Согласно закону, ты должен проглотить меня живьем. И тогда я стану мученицей и вечно буду жить в сердцах людей". Чудовище было возмущено до глубины души: "Но это несправедливо! Ты не заслуживаешь роли мученицы: я страдал целых семь дней, а ты не страдала вовсе". Так они проругались всю ночь. Когда же взошла заря, Чудовищу ничего не оставалось, как снять с себя цепь, дать Деве пощечину и удалиться восвояси, чтобы больше никогда не появляться в столице.

А Дева и ее соотечественники долго оплакивали собственную недалновидность и тот факт, что остались без мученика по крайней мере на ближайшее столетие.

В то время как жители столицы постепенно утопили свое чувство вины в вине и разврате, Дева оставалась безутешной. Из прекрасной Девы она постепенно превращалась в старую деву. В дневные часы ее преследовала тень оскорбленного в лучших чувствах Чудовища, а идея жертвенности не давала ей спать по ночам. Дева сохла на глазах и старейший из старейшин решил неотложным образом навести справки о местонахождении Чудовища. По слухам, Бог, разгневанный тем, что Чудовище нарушило закон и не проглотило Деву на исходе седьмого дня, отправило Чудовище в бессрочную ссылку за тридцать земель, где жители отличались чудовищной благопристойностью поведения и безукоризненным внешним видом. Чудовище выглядело среди них настолько дико, что опасалось выходить за ворота своего политического убежища и проводило дни в одиночестве среди аленьких цветочков, красных шапочек и серых волков за высокой стеной. Те немногие, кому удавалось подглядеть через замочную скважину в железных воротах, утверждали, что Чудовище невообразимо чудовищно. Окрестные жители, склонные верить чудовищным слухам, забрасывали Чудовище через стену камнями и ходили вокруг стены с транспарантами, оскорбляющими его чудовищное достоинство. Все эти сведения возмущали до глубины души нашу Деву. Она верила, что добро и красота заложены в каждом из нас, и считала окрестных жителей чудовищными расистами. Она пришла к выводу, что Чудовище — жертва чудовищных предрассудков, с которыми надо бороться личным примером.

Она отправилась за тридцать земель и постучалась в железные ворота. Но Чудовище, наученное чудовищным опытом, игнорировало посланницу доброй воли, и Дева просидела у стены тридцать девять дней и ночей. На сороковую ночь Чудовище прониклось доверием и отворило железные ворота. Когда Дева столкнулась лицом к лицу с Чудовищем, она чуть не упала в обморок: не столько от чудовищного облика Чудовища, сколько от чудовищного запаха, который исходил от его тела, покрытого космами и давно немытого. Поэтому вначале ей пришлось держаться на расстоянии от Чудовища, что, впрочем, помогло преодолеть его чудовищную подозрительность. Постепенно Чудовище привыкло к услугам Девы, которая пела ему колыбельные песни, заодно вычесывая из его шерсти вшей, из-за которых его совесть была расчесана до крови, и, тем са-

мым, вылечила его от чудовищной бессоницы. В один прекрасный день Чудовище даже согласилось принять ванну, и именно там Дева обнаружила, что Чудовище плачет. Возможно, что это были лишь капли пара, скопившиеся на загривке у Чудовища, где у него находился третий глаз. Но Дева была уверена, что это – слезы. "Почему ты плачешь?" спросила она. "О", сказал Чудовище, "Как я страдаю!" Сердце Девы дрогнуло. "Мы рождены страдать", сказала она Чудовищу: "Через страдание мы приближаемся к истине". Чудовище глянуло на Деву третьим глазом и сказало: "Но истина не дается без любви к ближнему. А меня никто не любит". И Чудовище раскрыло ей чудовищный секрет: когда-то в своей предыдущей инкарнации Чудовище было прекрасным Принцем, но злая колдунья, настроенная антимонархически, произвела в нем чудовищную революцию, обратив его в монстра. И Чудовище будет оставаться чудовищем до тех пор, пока его не полюбит прекрасная девица и не освободит его от злых чар своим прекрасным поцелуем. Сердце Девы еще сильнее дрогнуло, потому что подтвердилась ее вера в то, что добро и красота заложены в каждом из нас. Отбросив ложную скромность, Дева раскрыла свои объятия, набралась гражданской смелости и крепко поцеловала Чудовище.

Когда Дева снова открыла глаза, она увидела все то же Чудовище, которое, не изменив своей чудовищной внешности, вылезло из ванной, взяло с полки туалетное зеркало и поднесло это зеркало к глазам Девы. И когда Дева глянула в зеркало, она увидела в нем – лягушку!

Вскоре Дева-лягушка научилась членораздельно квакать, а Чудовище снова заросло вшами. Они жили счастливо и умерли в один день.

1984



Борис Хазанов

ET RESURREXIT

Орел-холзан стоял посреди площадки на мохнатых раскоряченных лапах, мигал ореховыми глазами и чувствовал, что у него нет сил начать новый день. Рассвет застал его в оцепенении. Покрытые изморосью, тускло блестя его клюв и желтобурые когти. Он продрог. Виной всему был жалкий ужин, но ведь умел же он вовсе обходиться без пищи, иной раз даже по многу дней. На всякий случай он наметил жертву — носатого парня, хоронившегося между камней. Но мысль о завтраке вызвала у орла тошноту. Переминаясь на затекших ногах, он чувствовал ржавый хруст в суставах, и все вместе — печаль внутренностей, стон костей — наполнило его сердце тревогой. Ему было 70 лет; постыдный возраст.

Плоская голова холзана повисла между плечами, крюкатый нос уткнулся в грудь, он снова дремал, и на дне его потускневших глаз проплывали загадочные видения. То, сорвавшись с края площадки, он летел молча вниз головой, растопырив лапы, погружался в ледяной поток, и его тело, качаясь, несло между камнями. То карабкался вверх по уступам.

Носатый сосед все еще сидел за камнями и время от времени, расхрабрившись, выглядывал оттуда: он видел, что хозяин пошатывается во сне и не может очнуться.

Понемногу светлело. Орлу снилась всякая чушь: блеск солнца, бычья черепа, громадные половые органы. Стараясь сохранить равновесие, он топтался на узловатых лапах с торчащим кверху длинным задним когтем. Этот лишний коготь, признак родовитости, в сущности только мешал ему. Утвердившись, он погрузился в плечи, думая, что погружается в сон, но теперь он притворялся перед самим собой, что спит. Так не хотелось взваливать на себя бремя сознания.

Холзан вознес голову. Соглядатай был тут, но заметно трусил. Орел был доволен; завтрак ждал его. А между тем туман, как дым, все быстрее и быстрее поднимался с трех сторон из ущелья, вот-вот должно было показаться солнце. Волшебное, вечно новое зрелище. Он оторвал лапу от камня и шагнул вперед. К сожалению, начало было неудачным, старый орел поскользнулся и упал, царапнув когтями щебень. Досадно было, что негодяй видел его падение. Все же утренний моцион монарха был совершен и на этот раз; сделав десяток шагов, орел остановился передохнуть, голова его запрокинулась, горло задергалось, с языка сорвался надменный клекот.

В былые дни государственному глаголу орла внимало более достойное общество. Дурак, сидевший за камнями, ничего не понял. Орел с достоинством продолжал путь. Так, скользя и подпрыгивая, обошел он свое жилище; когда же, окончив прогулку, орел обнес взором ближнюю окрестность, то заметил второго ворона, как будто поднявшегося из преисподней вместе с туманом: этот второй тулился на самом краю площадки и, очерив грязный клюв, точно ему хотелось пить, молча и скучно смотрел на холзана.

В гневе орел цокнул лапой и изрыгнул на них хриплую брань. И напрасно, не стоило. "Успокойтесь, государь," — сказал он себе с насмешкой. Окрик не произвел впечатления на гостей. Тот, который приехал позже, даже не пошевелился, только мигнул усталыми глазками; другой, сидевший с ночи, обеспокоился было и подпрыгнул, развесив крылья, но тотчас сел, оказавшись еще ближе, и выпялив по обе стороны граненого носа круглые, как черничные ягоды, глаза.

Орел перестал обращать на них внимание и смотрел

вдаль. Трудно было сказать, сколько прошло времени, но когда он очнулся, то оказалось, что уже не двое сидят возле него. Вся гряда, окаймлявшая площадку, была обсижена вороньем. Отовсюду смотрели на него носатые головы и поблескивали тускло-внимательные глаза. Послышалось трепыхание крыл; из клочьев тумана, выставив наготове паучьи лапки, спускался, точно парашютист, еще один, плюхнулся и оказался впереди всех. Орел заклеил компанию презрительным взором герцогских глаз. Пришелец был мал ростом, тускл и черен, как вынутая из воды головня. Убедившись, что старик безопасен, он повел грязным носом, с деловитой ненавистью поглядывая на застылое нахохленное собрание. Орел усмехнулся недоброй усмешкой, затрещал крыльями, — наглец в ужасе подскочил, отлетел прочь и тотчас вернулся, но место возле холзана было уже занято. Там сидел капитан, тот, который караулил с ночи. Капитан выпятил грудь и, дрожа от страха и отваги, растворил перед орлом свой длинный клюв.

Орел поднял веки и увидел, что он окружен. Собрав силы, он подпрыгнул, ударил крыльями и полыхнул очами. Кое-кто попытился, две или три косматых юбки поднялись в воздух. Прочие остались на месте и не сводили лиловых глаз с холзана.

”Те-те-те. Мы что-то очень разволновались,” — сказал себе орел. И это был конец?.. А он-то воображал, что умрет там, в синеве над снегами, где в последний раз пронесется его тень, похожая на крест. Все же сидеть так и ждать не годилось. Он думал, как ему поступить, и придумал. Внезапно, вскинув крюкатый клюв, орел издал воинственный возглас. Как плащ, развернулись его боевые крылья. Орел ринулся вперед, и в одно мгновение жалкий вождь, колебавшийся перед ним на хилых ножках, был сметен. Стая с криком разлетелась в стороны. На площадке не было ни души, орел шумно дышал и гневно и радостно оглядывал мир. Теперь подойти к краю — и вниз головой...

Ничего этого не было. Шайка, обсевшая скалу, молча смотрела, как он кланялся перед ними с помутившимся взглядом и во рту у него дергался узкий посеревший язык.

Все вопросительно повели носами в сторону капитана. Капитан приосанился. Он ждал, что хозяин сам повалится

с камня. Хозяин шатался, как будто его раскачивал ветер, но не падал. Сверхъестественным усилием холзан вернулся к действительности и вновь стоял прочно на своих тяжелых, приросших к камню лапах, над которыми низко нависали мохнатые штаны. Холзан глядел на шайку ледяным герцогским взором их-под полуопущенных век. "Не в них дело, и не их вина," — думал он.

"Кхarr!" — выкрикнул кто-то в толпе. Эхо громыхнуло из ущелья. Орел нашел глазами тщедушного капитана. Капитан волновался. Все общество было охвачено беспокойством. Покашливали, подрагивали отвисшими хвостами, подмигивали фиолетовыми бусинами глаз. Поколебавшись, капитан подпрыгнул, — черные крылья его метнулись в воздухе, как старая юбка.

Орел вздрогнул от изумления; капитан сидел у него на голове. С трудом держась и судорожно взмахивая крыльями, капитан со страхом озирает с высоты свое войско. Он был похож на одержавшего верх любовника, который от долгих приготовлений лишился сил.

Орел чувствовал себя нехорошо: нехватало только упасть вместе с капитаном. Жалобные крики ворона болезненно отзывались в его ушах. Он чувствовал, что капитаньи когти разъезжаются на голове, рвут перья и ранят его. Мысленно он обругал капитана ублюдком и склонил голову, помогая ему удержаться. "Бей же, ну! Бей," — думал орел. Жалкий любовник, капитан все еще устраивался и примерялся.

Наконец, капитан долбанул; удар был не особенно удачным, и орел устоял. Капитан же чуть не свалился. Зрители шмыгали носами, не спуская глаз с командира. Капитан помедлил и стукнул клювом еще раз. Орел стоял как вкопанный. Раздосадованный капитан крикнул дурным голосом и с высоты оглядел всех. Войско стояло навтыжку, вознеся носы точно на карауле. Капитан махнул головой что было силы, но холзан и на этот раз устоял.

Он стоял, сторбленный, стараясь не уронить командира, и ждал следующего удара. Удар раздался, на сей раз крепкий, старательно-точный и пробил кость. Орел почувствовал, как потекло по голове, стало заливать глаза и восковицу и закапало с кончика клюва. Спустя миг страш-

ный новый удар поразил его в средоточие жизни. Холзан погрузился в ночь. Ворон тряс над ним тряпичными крыльями, махал головой и деловито жрал мозг. Увидев эти теплые, розоватые, дымящиеся комочки, исчезающие в клюве у капитана, зрители не могли больше утерпеть, заорали вразброд, хлопнули крыльями и, сорвавшись, бросились на повалившегося с камня, слепого и окровавленного орла. Над ним началась драка.

Лежа с продырявленным животом, орел слышал их крики как бы сквозь слой ваты. Он чувствовал, как его топчут их лапки. С хриплым матом, размахивая крыльями, точно грязными знаменами, вороны насакивали друг на друга. Кто-то потащил кишки, и в несколько минут он лишился внутренностей. Между ногами трудились целая толпа. Карлик-парашютист расклевал пах и, сопя, сожрал яички. Орел не мог двигаться и молча ждал, когда начнут выклевывать глаза. Там, внизу от него уже ничего не осталось. Глаза были не нужны ему, да и ничего не было нужно, но он надеялся, что про них забудут. Ворон-капитан подскочил к нему, захватил глазное яблоко щипцами и вырвал глаз с обрывком нерва.

Орел лежал с пустыми глазницами, между которыми торчал черно-блестящий, загнутый, как коготь, клюв герцога с обрывками желтой восковцы, и, собственно говоря, его уже не существовало. В полузасохшей коричневой луже валялись орлиные перья и пух и лежали большие скрюченные лапы. Вокруг там и сям был набрызган вороний помет. Между камнями расхаживали грязноносые черные птицы, громко переговаривались базарными голосами и чистили клювы. Брызнуло солнце. Хохлатый вождь взлетел на уступ, гнусаво выкрикнул команду, и вся стая поднялась в воздух.

”Ловко у них получилось, — размышлял орел. — Все съели. Что ж, к лучшему. Туда мне и дорога.” Ветер понемногу сдувал с площадки орлиные перья. ”Я не хочу жить, — сказал он, — и не хочу больше думать. Я не хочу быть. Насколько было бы справедливей сначала исчезнуть, а потом пусть жрут сколько влезет. А что теперь?.. Я не хочу быть. *Я не хочу быть*”. И он стал ждать, когда они слетятся снова, чтобы расклевать его мысль, как они расклевали его тело.

Эдуард Лимонов

ДВОЙНИК

В почтовом ящике — пакет. Адрес отправителя — религиозной организации — американский. Вынул пакет, верчу в руках, не могу понять, какое отношение я имею к ним и откуда они взяли мой адрес. Открыв пакет, обнаружил там книгу. Карманная, на русском языке библия. Совсем уж решив, что распространители слова Господня добрались до меня случайно — получили мою фамилию и адрес от шутника-приятеля, я все же новенькую библию перелистнул. И к удивлению своему обнаружил на титульном листе следующее посвящение, подписанное именем Джон: "Дорогому Эдварду, в память о нашей встрече, с надеждой на будущее, от его близнеца".

После этого я тотчас его вспомнил. Мой двойник. Преподобный Джон. Обещал обратить меня в свою веру, и сдерживает обещание. Не забыл. Упрямый отец Джон.

Приятель организовал нашу встречу в Нью-Йорке. "Я хочу познакомить тебя с одним любопытным человеком," — сказал Стив и посмотрел на меня вопросительно. И, очевидно, угадывая мою реакцию, тотчас добавил: "Не бойся, это не будет скучно. Поверь. Приходи ко мне в воскресенье, и он тоже придет. Потом пойдем куда-нибудь пообедаем".

Я не люблю людей. То есть я не люблю человека массового, и массовый мужчина еще ужаснее массовой женщи-

ны. Массовую женщину хотя бы можно выебать, и нащупать что-то общее. Но, во-первых, я верю вкусу Стива, он меня неплохо знает, и знает как скучны мне нормальные люди, раз приглашает — значит что-нибудь острое, приперченная личность для меня заготовлена. Во-вторых, даже если и неинтересным окажется экземпляр, я Стиву кое-чем обязан, в частности публикацией одной из моих первых книг, которой книги он и был редактором. В случае крайней необходимости пострадаю пару часов — я их должен Стиву.

В воскресенье в августе я пришел в квартиру Стива на Сент-Маркс Плэйс, разумеется, вовремя. Хотя и старался придти попозже, но пришел первым. Внизу бесконечно, пулеметными очередями стучал дверной автоматический замок. Очевидно кто-то из жильцов, уехав на уикенд из нью-йоркской августовской бани, каким-то образом навечно оставил кнопку "дверь" прижатой, или нечто испортилось в несложном механизме открывания двери. Стива я застал едва вставшим из постели.

Мы заговорили о чем-то, но ни я не спросил его о другом госте, ни он не старался сообщить мне, кто гость такой и чем он занимается. Наконец раздался звонок в дверь, и Стив, сказав "вот и Джон", посмотрел на меня с любопытством.

Вошел человек в таких же как у меня очках, одного со мной, пожалуй, роста. Мы представились, он сел за стол. Мы пили вино, и Джон тоже получил бокал. Стив и Джон обменялись несколькими фразами. Стив все время смотрел на меня, чего-то ожидая. Наконец он спросил меня: "Ты не находишь, Эдвард, что вы с Джоном очень похожи?"

Я всмотрелся в человека внимательнее. Нет, он был чужой человек, лицо его мне было незнакомо.

Лишь с большим трудом, напрягшись, я обнаружил в его лице черты моего лица. Нос, губы были те же, строение скул, волосы. Сходство, если оно было, усугублялось, должно быть, одинаковым стилем прически — короткие волосы его были зачесаны назад небольшим коком над лбом, обычная прическа эпохи Элвиса Престли, конца 50-ых годов. У меня такая же. И на нем были очки того же стиля,

что и мои — в темной пластиковой оправе.

Возможно, мы были одинаковы, но я видел нас разными. Одинаковы физически. Но я его не узнавал до того, как Стив указал мне, что это мой двойник. Дело в том, что я себя представлял другим. С теми же чертами лица, но иным. Я хотел видеть себя иным и видел.

Лицо его мне не понравилось. Если бы я был женщиной, я бы не смог влюбиться в его лицо. В лице его было что-то нехорошее и даже неинтересное. Проглядывало сквозь черты. Это наблюдение смутило меня. Неужели и у меня такое лицо?

Прежде всего он был здоров. Здоровое лицо. И ничего, на мой взгляд изобличающего духовность, в нем не присутствовало. Никаких выделяющихся черт. Глаза были почти незаметны. Были заметны очки.

И даже более того — его лицо было лицом неинтересного square человека. Такое лицо могло принадлежать бизнесмену, владельцу может быть магазина готового платья, не бутик, а ширпотребной уродливой одежды. Еще оно могло принадлежать инженеру, скажем инженеру автомобильно-строительной фирмы в Детройте. По лицу судя, Джон был человеком не очень высокого полета.

Только чуть позже, в ресторане, куда мы вышли пообедать, до меня дошло наконец полностью, что Джоново лицо не только лицо Джона, но и копия лица писателя Эдуарда Лимонова. Меня это несложное открытие очень поразило. Сидя за столом против своего двойника, потягивая красное вино, я с ужасом вдруг вынужден был тут же пересматривать мои собственные представления о себе и о том, каким меня видят люди. "Неужели я такой же несимпатичный и даже уродливый?! — думал я. — Эти тонкие бескровные губы, вздернутый нос, невидный подбородок и предательская складка под подбородком — следствие унаследованного от матери строения... Да все это не только не эталон мужской красоты, но скорее стертый, несвежий эталон мужской посредственности". Я проходил с моим лицом тридцать семь лет по земле и только сейчас открыл, какая же я невыразительная тусклитина.

За вторым блюдом меня бросило в жар, я поминутно вытирал салфеткою со лба холодный пот, хотя хорошо

прокондиционированное помещение ресторана не пропустило августовскую липкость к обеду. "Урод! Тусклятина!" — думал я, поглядывая на Джона. Непривлекательнее всего наше лицо выглядело в полу-профиль.

Рядом сидел Стив, каковой хотя и некрасивый, маленького роста человечек, но смахивает на Жана Жэнэ. Его лицо очень некрасиво, но интересно. Я бы сменялся лицами со Стивом.

По мере нашего продвижения к десерту настроение мое все более и более портилось. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что Джон, узнав, что я равнодушен к христианству, стал вежливо направлять меня на путь истины, говорить мне о сотворении мира, опровергать дарвинизм, который я и не собирался защищать, и все такое прочее. Нет для меня людей неприятнее чем "Джезус фрикс", как я их зову. На меня пахло ханжеством и чистотой христианских публичных библиотек, куда я порой захаживал скоротать время и погреться в тяжелые для меня первые мои нью-йоркские зимы. Когда же я в конце-концов недовольно-скептически огрызнулся на его вежливую христианскую лекцию, он заткнулся, сказав, что пришлет мне Библию, и в ответ на мое "спасибо, не нужно", терпеливо объяснил, что если даже я буду заглядывать в Библию только раз в год, это уже будет хорошо и благо.

Я пожал плечами. Мне вся эта история начинала надоедать. Понравилось мне на секунду только то, что отец Джон, отклонив наши со Стивом притязания, заплатил за обед. Пастырь оказывается имел и светлые стороны в его пастырском характере.

Выяснилось, что проповедник он профессиональный, что он читает там у себя проповеди в Вашингтоне Д.С. и даже выступает с проповедями по радио. "А почему нет, — подумал я, — спокойный, сытый отец Джон. Неужели я тоже выгляжу спокойным и сытым — такой беспокойный и не очень сытый писатель Лимонов?"

Я подумал еще, что, интересно, видна ли у меня на лице моя тайная страстишка, мой грешок, видно ли, что я начинающий садист, а? Тут читателю следует объяснить, что не следует моментально представлять себе писателя Лимонова с клещами в руках, в обгаренном кровью переднике,

терзающего жертвы в подвале Марэ или в нью-йоркском мрачном апартаменте. Я имею в виду роль в сексуальной игре, и только, читатель. Доминирующее положение в постели. Дюжина шлепков шлеткой там и тут, маска, пара кожаных наручников, только и всего. Я, глядя на отца Джона, пришел к выводу, что ничто в его-моем-нашем лице не выдает моей новой принадлежности к славному ордену садистов. Ничто. "Мы" — обычный человек. Может быть скорее, отец семейства. "Мы" не похож на ужасно-лицы, красивых и мрачных типчиков, терзающих свои жертвы на страницах книг художника Крепакса, скажем на страницах той же "Истории оф О". Мы не были сэрами Стэфанами, о нет!

Я быстро обнаружил, что я запутался. Хотя мы имели одно лицо с преподобным Джоном, это далеко еще не значило, что у нас одни и те же грешки и что отец, задравши свою рясу, упражняется в искусстве плеткохлестания жертв.

Мы вернулись в апартамент Стива и, захватив фотоаппарат преподобного Джона, спустились опять не Сент-Маркс Плейс, где Стив стал нас неумело фотографировать. Отец Джон, оказывается, прочел одну мою книгу и интересовался мной, хотел иметь фотографии на память. Занимались они этим бизнесом довольно долго, потому что Стив фотографировать совсем не умел. Отец Джон наводил на меня фотоаппарат, потом возвращался и становился со мною рядом, а Стив нажимал кнопку. Мы снялись в фас, в профиль и еще в дюжине разнообразных поз, подчеркивающих наше сходство.

По окончании фотосеанса Стив откланялся, к нему должен был придти любовник, и мы с отцом Джоном были предоставлены самим себе. Я спросил его, в какую сторону он направляется, и он ответил, что дел у него никаких сегодня нет и что он хотел бы просто прогуляться по Гринвич-Вилледж. У меня также не было никаких дел, но оставаться долго с ним мне вовсе не хотелось, стало неинтересно. Я сказал, что пройду с ним немного, а потом поеду домой.

Мы зашагали, разговаривая о пустяках. Он сказал, что, судя по моей книге, я очень хорошо знаю Нью-Йорк, наверное мельчайшие улочки знаю, не хочу ли я ему что-либо не-

обыкновенное показать. Я сказал, что я да, очевидно знаю Нью-Йорк лучше его, но я потерял интерес к городу, как теряешь интерес к хорошей, но несколько раз прочитанной книге, потому мне нехватает вдохновения для того, чтобы показать ему необыкновенное.

Мы плелись. Он заговорил о том, что пишет стихи. "Но у меня уходит очень много времени на шлифовку каждого стихотворения, — сообщил отец Джон. — В отличие от вас я пишу очень медленно, и к моим 38 годам (ему было 38) написал едва ли несколько дюжин стихотворений". Я утешил его, напомнив, что Кавафи написал за целую жизнь всего лишь маленький томик стихов, однако считается одним из крупнейших поэтов нового времени. Отец Джон с мягкой улыбкой сказал, что он, увы, понимает, что он не Кавафи.

Я продолжал идти с ним, наверное от лени. Можно было откланяться у первой попавшейся станции собвея, но я продолжал идти с ним в направлении аптауна по липкому городу. Чтобы было удобнее, я даже снял свою сержантскую, с лычками аэрфорс, рубашку и шел рядом с преподобным отцом по пояс голый. Вот тут-то он и заметил что у меня "красивое тело".

Замечание его заставило меня насторожиться. Как-то он это по-особенному сказал, не как преподобный Джон. Был некий оттенок светскости в его замечании. И еще чего-то... Стив был гомосексуалист, Стив был мой приятель и приятель отца Джона. Ничего удивительного в том, что и Джон мог оказаться гомосексуалистом, я не видел. Но преподобный Джон?! Мне стало интереснее. И я его не бросил, как собирался у Пенсильвания стейшан собвея, и не поехал на Колумбус авеню, где я тогда жил у приятелей, но продолжал идти с ним, и беседовали мы о стихосложении... Отец Джон что-то говорил о пеолах, и я, желая поддержать разговор, прочел ему пару строк, написанных мною, как мне всегда казалось, гекзаметром. "Нет, — возразил отец Джон, — это одиннадцатисложник..."

Я поглядывал время от времени на него, размышляя, гомосексуалист ли пастырь Господен или нет? Писательское профессиональное любопытство, и только. Я решил во что бы то ни стало расколоть его на признание, и уже

на 59-й улице, вблизи Колумбус Серкл, продолжая поддерживать в нем уверенность, что я вот-вот уйду, я вдруг предложил ему выпить. "Пива, — сказал я, — выпьем пива".

Проживший всю жизнь в бедности, я всегда предпочитаю дешевые развлечения. Я хотел купить пива в супермаркете и сесть, потреться на скамейке среди ночного города, попивая пивко. Но мы не нашли открытого магазина вблизи, и отец Джон предложил пойти в бар, у него есть деньги, сказал он, он заплатит. О'кей. В конце-концов мы уселись в одном из открытых кафе на Бродвее, напротив Линкольн-центра, из тех что за последние несколько лет настроили на Аппер-Вест-Сайде предприимчивые гомосексуалисты, толпами переселяющиеся нынче из сверхперенаселенного Гринвич-Вилледж в район Колумбус авеню.

Парень-официант, симпатичное темнобровое шимпанзе, подкатившее к нам на роликах, тотчас объявил нас братьями, и мы с Джоном, поощрительно улыбнувшись друг другу, с ним согласились. Так мы стали братьями. Братья заказали по "гиннесу".

На третьем "гиннесе", в первом часу ночи, разговор все еще крутился вокруг поэзии и литературы, в момент, когда патер как раз сообщал мне о своем последнем литературном успехе, — несколько его стихотворений появилось в неплохом литературном журнале, я, вдруг поглядев на него в упор, сказал: "Отец Джон, простите меня за может быть не совсем приличный вопрос, если вы не хотите, можете на него не отвечать, но вы гэй?"

Пастырь Господен посмотрел на меня без смущения, но со спокойной печалью и просто ответил: "Да. Но только пожалуйста, прошу вас, не говорите об этом никому, хорошо? Я не стыжусь того что я гэй, но мои коллеги имеют иное, чем у меня, более узкое, представление о любви, и мне не хотелось бы, чтобы они узнали мой секрет. Это будет стоить мне моей карьеры — мне придется отказаться от пастырства и проповедничества, а я, как вам не покажется это странным, действительно глубоко религиозен".

Отец Джон помолчал немного. Молчал и я, что я мог сказать? Он продолжал: "Я не просто гэй, дорогой мой друг, но педофил... То есть я сплю с мальчиками, и только с мальчиками. Ну вы знаете очевидно, есть даже спе-

циальный термин — вульгарный, нужно сказать — ”куриная дырочка” — ”чикен хоул”. Вот с ними”. Он опять замолчал. Мы тянули ”гиннес”. Посочувствовать ему я мог, но звучало бы это глупо. Я ждал, когда он продолжит признание. Я чувствовал, что ему этот разговор со мной очень-очень нужен, может быть надеясь на такой разговор, он и пришел к Стиву. В конце концов, я был автор романа-признания, герой которого имеет среди прочего и гомосексуальный опыт.

Отец Джон заговорил опять. ”Все это со стороны очевидно кажется очень грязным... Невинные дети, соблазненные чудовищем. На деле, если вы решитесь поверить мне, это не совсем так...” Джон проглотил слюну. ”У меня за мою жизнь было, если не ошибаюсь, около четырехсот малолетних любовников. Из них, — он задумался, — я соблазнил, действительно соблазнил, может быть десятых... Все остальные рассудительно отдались мне за деньги сами. Продались. Вы думаете, Эдвард, все они гэи? Нет, и половина из них не стала гомосексуалистами, когда они выросли. Я переписываюсь со многими до сих пор. У некоторых, поверите ли, уже есть жены, дети, которые так никогда и не узнают эту сторону жизни их мужа и отца. Общество жестоко охраняет такие секреты, по сути дела не видя ничего предосудительного в самом действии. Ужасной же сделана огласка”.

Отец Джон помолчал и добавил: ”Я до сих пор посылаю моим мальчикам подарки и иной раз деньги. Даже тем, кого не видел годами”.

Он начал меня удивлять. Эта своеобразная смесь религиозной христианской благотворительности с римским развратом. Мальчики-подростки, которых он когда-то ебал, выросли и стали взрослыми, скрывающими от общества каждый свою стыдную тайну, и он посылает им подарки, деньги, которые может быть идут в семейный бюджет. Бред.

”Часто это бедные дети, — сказал отец Джон. — Я покажу вам Виктора”, — внезапно заулыбался он и торопливо полез в карман. Вынул бумажник, а из него — полероидную фотографию темноволосого ширококоротого подростка, протянул мне. ”Красивый мальчик!” — похвалил писатель Лимонов.

”Очень, — нежно согласился Джон. — Его отец рабочий. Они так никогда и не узнали — его семья, его мать и отец, в каких отношениях я с ним состоял. Его мать до сих пор пишет мне благодарные письма. ”Спасибо вам, преподобный Джон, за все то, что вы сделали для нашего мальчика”. Джон виновато посмотрел на меня. ”Я действительно подобрал его на улице и сделал человеком... Я до прошлого года платил за его обучение в университете, — Джон вздохнул. — Теперь у него есть невеста. К сожалению он меня никогда не любил, он просто очень любил получать подарки, особенно красивую одежду... Меня он стыдился”.

”Да, — думаю я, — мальчик Виктор очевидно жуткая сволочь”. Симпатии мои перекочевывают на сторону Джона. Я всегда на стороне любящих. Те, кого любят, обычно ужасный материал, красивые человекообразные подлецы. Тем более, что Джон — почти я, мой близнец, мой двойник, у него моя оболочка. Мной овладевает презрительная злость к красивому малолетнему эксплуататору, фотографию которого я все еще держу в руках. ”Красивая бездарь! — думаю я зло. — Мы с Джоном некрасивые, но великодушные”, — думаю я.

Джон продолжает восхищаться Виктором, нежно говорит о его теле, а для меня мир неотвратимо переворачивается и переворачиваются все мои представления. Джон из грязного педофила, соблазнителя и развратителя целомудренных детей, каким его в случае ”разоблачения” представит любой судья, любая газета, вдруг становится влюбленным мечтателем, нежным и живым человеком, любящим красивое и молодое. Виктор же, его темноволосый ангел, предстает передо мной бездушным вымогателем подарков и денег, стяжателем и подлецом. Да-да, подлецом, потому что настоящий человек, будь он и десяти лет от роду, может ебаться с кем хочет, но не продаст свое тело. Сука Виктор...

Я солидаризируюсь с моим двойником. Он мне теперь нравится. Во всяком случае у него есть трагедия, есть тайна, есть источник страдания.

”Я веду двойную жизнь, — говорит он со вздохом. — И ужасно устаю от этого. — На радио я выступаю под псевдонимом, — добавляет он. — Не дай Бог кто-нибудь узнает меня, какой будет скандал! Кроме того, я с тех пор, как переехал

в Вашингтон, не позволяю себе любовных связей в этом городе. Для этого я приезжаю в Нью-Йорк. Здесь я анонимен”.

”В отличие от вас, Эдвард, — вдруг говорит он мне лукаво, — я уже не считаю себя привлекательным, потому я всегда плачу за любовь. Я покупаю себе любовь”.

С чего он взял, что я считаю себя привлекательным — думаю я. ”Я тоже плачу за любовь, — говорю я, улыбаясь. — Мои партнеры идут со мной в постель в большинстве случаев потому, что я писатель. Им интересно. Я плачу им психологическими, невидимыми, но очень высоко ценящимися в человеческом обществе валютными знаками. Они хотят быть привилегированными, спать с писателем... Если бы я был просто Эдвард, отец Джон, а не Эдвард-писатель, моя постель была бы куда более пустынна”.

Он понимает. Он улыбается, и мы вздыхаем. У нас одинаковые лица. У него чуть-чуть иной голос чем у меня, тембр моего голоса выше. Мы еще раз оглядываем друг друга, уже не скрываясь.

”У вас фигура лучше, чем у меня, — больше мышцы, и совсем нет живота”, — замечает он с некоторой завистью.

”Да, — соглашаюсь я, — но лицо, это лицо”.

”Да. Увы, — подтверждает отец Джон. — И очки. А вы пробовали носить контактные линзы?”

”Угу, — говорю я, — пробовал. Но я много пью — профессиональная болезнь литераторов, и постоянно спяну теряю линзы. Дорогое удовольствие”.

”И я пробовал, — сообщает он, — но лицо без очков становится отвратительно плоским”.

Лицо. Наше лицо.

Мы пьем свой ”гиннес”. Уже два часа ночи и кафе на открытом воздухе пустеет. Официанты начинают переворачивать стулья и водружать их на столы. Отец Джон расплачивается.

”Хотите пойти со мной?” — вдруг спрашивает он. Святой отец уже немного подвыпил, но это не неприятно, с него только слетели остатки некоей пастырской сдержанности или может быть робости. ”Хотите пойти со мной в ”Сенник”? — продолжает он. И поясняет — Это бар на 8-ой авеню, то место, где я нахожу своих мальчиков. Я щедр, они меня там все помнят и знают, идут со

мною охотно... Позже мы могли бы пойти ко мне в отель..."

В голосе его прозвучала неуверенная интимность. "Пойти в мой отель" могло означать что угодно. Точнее — два варианта. Взять мальчика или двух мальчиков, и пойти в его отель, сделать с ними любовь... Это один вариант. И второй вариант — я и он идем в его отель и там занимаемся любовью... Но второй вариант мало вероятен. Он — педофил, я — взрослый мужчина с полу-седыми волосами не могу быть ему интересен. Разве что из хулиганства? Глядя в его лицо как в зеркало... Сделать любовь с человеком с моим же лицом?

Я не пошел. Мы пожали друг другу руки и разошлись.

Ночью мне приснился красивый Виктор, который бил отца Джона по голове бейсбольной палкой. Отец Джон был голый, и член у него был мой.

ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ? ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ?

ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ?

Журнал "Синтаксис" приглашает своих читателей обсудить следующие вопросы:

- Создала ли третья эмиграция свои собственные культурные и духовные ценности?
- Сохраняют ли люди, прожившие в эмиграции более десяти лет, живое чувство связи со своей страной, способность понимать ее сегодняшний день и отличие его от дня вчерашнего?
- Почему вернулась Светлана Сталина?
- Что такое русская эмигрантская пресса, каковы ее задачи и насколько она свободна?

ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ? ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ?

Леонид Ицелев

ШАМПАНСКОЕ НА ЧЕТВЕРЫХ

Действующие лица:

Иосиф СТАЛИН (он же товарищ КОБА), 33 года — начинающий журналист.

Николай БУХАРИН, 24 года — студент Венского университета.

Лев ТРОЦКИЙ (он же БРОНШТЕЙН), 33 года — троцкист.

Адольф ГИТЛЕР, 23 года — читатель библиотеки.

В. И. ЛЕНИН, 43 года — житель города Кракова

Действие происходит в Вене, 21 декабря 1912 года.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Читальный зал Королевско-императорской библиотеки в Вене. За столом, лицом к зрителям, сидят Сталин и Бухарин.

БУХАРИН: Значит так, Коба, пиши: "В русском переводе книги Отто Бауэра "Национальный вопрос и социал-демократия" вместо национальных особенностей сказано "национальные индивидуальности". Переводчик Панин неверно перевел это место, в немецком тексте нет слова "индивидуальность", там говорится о "nationalen Eigenart", то есть об особенностях, что далеко не одно и то же.

СТАЛИН: Помедленнее диктуй... На-ци-о...

БУХАРИН (*заглядывая в записи Сталина*): Да нет же, Коба, после А не Цет, а Тэ. Исправь, или... давай лучше я сам напишу. (*Берет у Сталина тетрадь, начинает что-то быстро писать*).

СТАЛИН: Слушай, Коля, надоело мне этой ерундой заниматься. Давай пойдем в ресторан, а? Все-таки сегодня у меня день рождения. В Вене грузинские рестораны есть?

БУХАРИН: Грузинских ресторанов здесь нет. Кажется, есть один армянский.

СТАЛИН: В армянский не пойду, не люблю армян: они все педерасты.

БУХАРИН (*искренне возмущен*): Как тебе не стыдно, Коба? Ты пишешь программную большевистскую статью, которая должна дать отпор национализму, а сам позволяешь себе оскорблять один из древнейших народов с тысячелетней культурой.

СТАЛИН: Во-первых, я лучше тебя знаю, кто такие армяне, а во-вторых, революцией я привык заниматься не в библиотечной пыли, а на свежем воздухе. По своей воле я бы сюда не пришел. Ты же сам знаешь, что несколько дней назад в Кракове...

(Свет гаснет. Луч прожектора выхватывает из темноты два силуэта – ЛЕНИНА и СТАЛИНА).

СТАЛИН: Вот, товарищ Ленин, триста сорок одна тысяча сорок шесть рублей шестнадцать копеек. Все, что было в тифлисском государственном банке во время нашего налета.

ЛЕНИН: Спасибо, товарищ Коба. Операцию вы провели великолепно. Я знаю, что из наших во время экспроприации никто не пострадал. А вообще какие были жертвы?

СТАЛИН: Трое полицейских убиты...

ЛЕНИН (*потирая руки*): Прекрасно...

СТАЛИН: ... и пятьдесят человек прохожих ранены.

ЛЕНИН (*заразительно смеется. Сквозь приступы смеха*): Неужели пятьдесят? (*Постепенно успокаивается. Вытирает слезы платком*). Еще раз большое вам спасибо от имени всего русского пролетариата. (*Жмет Сталину руку, долго ее не отпуская*). Одно маленькое замечание: при следующей экспроприации постарайтесь, чтобы было как можно больше жертв и со стороны банковских служащих. Широкомасштабные ограбления с применением насилия – это прекрасная школа революци-

онной борьбы, школа коммунизма. (*Не разжимая рукопожатия*). Послушайте, батенька, а что это у вас руки дрожат, как будто вы кур воровали? (*Смеется заразительным ленинским смехом*).

СТАЛИН (*опустив глаза*): Это у меня нервное, Владимир Ильич, еще после первой экспроприации началось...

ЛЕНИН: Нервы, говорите? Это нехорошо. Здоровье надо беречь. Вы — наше ценное партийное имущество, и вас надо малость починить. Неплохо бы куда-нибудь съездить, отвлечься от революционных забот. Вопрос только, куда. В Париж послать вас не могу — дорого, в Ницце мертвый сезон, скукота... Знаете что, поезжайте-ка на пару месяцев в Вену. Какая-никакая, а все-таки имперская столица. Для бухгалтерии эту поездку мы оформим как командировку. Надо только придумать, с какой целью... Вот что: как инородец вы могли бы написать статью по национальному вопросу и дать в ней достойный отпор бундовской сволочи. Дело, между прочим, архиважное. Значит, так и запишем. Командировочные и суточные получите у Надежды Константиновны. Если у вас будут трудности с немецким или русским языком, обращайтесь к Бухарину. (*Силуэт Сталина исчезает*). Наденька! Иди сюда, дорогая. Садись, я буду тебе диктовать письмо Горькому. (*Диктует*). "Дорогой Алексей Максимович! У нас один чудесный грузин засел и пишет для "Просвещения" большую статью, собрав все австрийские и прочие материалы..."

(*Луч прожектора гаснет. Сцена вновь освещается. Декорация возвращает нас в Вену, в Королевско-императорскую библиотеку*).

БУХАРИН: И все-таки, Коба, сегодня надо еще немного поработать. Может быть, ты сам попробуешь что-нибудь сочинить?

СТАЛИН: Ладно, попробую. Как тебе нравится, например, такая фраза: "Неужели мы, марксисты, должны заботиться о сохранении таких реакционных народных обычаев, как кровавая месть у грузин?"

БУХАРИН: Браво, Коба. Продолжай дальше.

СТАЛИН: "Россия — это полуазиатская страна, расположенная между Австрией и Китаем".

БУХАРИН: Коба, да ты поэт! Ты же можешь эту статью написать сам, без моей помощи.

СТАЛИН: Нет, Коля, твоя помощь мне нужна. Есть у меня ряд неясных вопросов. Вот посоветуй, дорогой, как нам быть с евреями, куда их отнести? К нации, народности или племени? Может быть, мы временно будем считать их племенем: если большинство еврейского пролетариата пойдет за партией большевиков, мы переведем евреев в более высокую категорию — народности или даже нации; если же еврейскую бедноту увлекут в свое болото бундовцы, значит евреям суждено вечно пребывать в племенном разряде.

БУХАРИН: Ты знаешь, Коба, это очень сложный вопрос. Надо посоветоваться с Марксом.

(Появляется БИБЛИОТЕКАРЬ).

БУХАРИН: Госпидин библиотекарь, я бы хотел заказать сочинения Карла Маркса.

БИБЛИОТЕКАРЬ: Маркс на руках.

БУХАРИН: Мне только сверить одну цитату. Может быть, читатель мне разрешит? Как его фамилия?

БИБЛИОТЕКАРЬ: Троцкий.

БУХАРИН *(Сталину, с ужасом в голосе)*: Классик в руках врага.

СТАЛИН: Мы обязаны отстоять труды нашего учителя, пока враг не успел их извратить.

БУХАРИН: Какую тактику выберем, Коба?

СТАЛИН: Наступление. Иди, Коля, и экспроприруй у Троцкого Маркса.

(Бухарин неуверенно направляется за кулисы).

СТАЛИН: Вперед, Коля! Наше дело правое, победа будет за нами. *(Пауза. Сталин, усмехаясь, покуривает трубку. Возвращается запыхавшийся взволнованный Бухарин с неправдоподобно толстым томом Маркса в руках. За ним бежит всклокоченный Троцкий).*

ТРОЦКИЙ *(обращаясь к зрителям)*: Товарищи, помогите! Народного трибуна грабят!

СТАЛИН: Маркс должен принадлежат продолжателям его

дела, а не мелкобуржуазным псевдореволюционерам.

ТРОЦКИЙ (*Сталину*): О жалкие эмпирики! (*Бухарину*): О ничтожные эпигоны! О мещанские социалисты, стремящиеся направить развитие русской революции по австралийскому образцу...

СТАЛИН: Коля, вскрой-ка его классовые корни.

(*Бухарин незаметно подкрадывается к Троцкому*).

ТРОЦКИЙ: ... как могли вы предать забвению свежий, еще не остывший, дымящийся кровью опыт нашей революции?

(*Бухарин ударяет Троцкого увесистым томом Маркса. Троцкий падает без чувств*).

СТАЛИН: Идем скорее отсюда, Коля.

БУХАРИН: Надо бы его хоть в сторонку отнести.

СТАЛИН: Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов.

(*Сталин и Бухарин собираются уходить, но сталкиваются с молодым читателем – Гитлером*).

ГИТЛЕР: Постыдитесь, господа! Вы находитесь в храме знаний, а ведете себя, как на местечковом базаре.

БУХАРИН: Это еще чей там голос из помойки мировой истории?

СТАЛИН: Не агент ли это тайной полиции?

ГИТЛЕР (*спотыкаясь о лежащего Троцкого*): Вы убили человека?

БУХАРИН: Да что вы, господин хороший. Это же известный в городе алкоголик Бронштейн. Пришел, понимаете, зачем-то в библиотеку, выпил в буфете рюмку сливовицы, вот его и развезло.

ГИТЛЕР (*склоняясь над Троцким*): Вы лжете! Человеку плохо. Надо срочно вызвать врача и полицию. (*Дает Троцкому пить*).

ТРОЦКИЙ (*глотнув воды, открывает глаза*): Мне уже лучше. (*Гитлеру*): Товарищ, вы из рабочих?

ГИТЛЕР (*с гордостью*): Мой отец был чиновником!

СТАЛИН: Ты, Коля, как хочешь, а я должен отваливать, пока менты не повязали. Я здесь по фальшивому паспорту.

БУХАРИН: Идемте, Лев Давыдович, домой. Вам надо отдохнуть. Наталья Ивановна, наверное, уже беспокоится. Детки плачут.

ТРОЦКИЙ: Я требую третьей суда!

СТАЛИН: Ну зачем же в суд подавать, дорогой. Пойдем лучше в кафе, посидим, потолкуем.

ТРОЦКИЙ: Если вы не согласны на революционный третейский суд, я буду вынужден, временно подавив в себе чувство классового омерзения, обратиться в полицию.

СТАЛИН (*злобно шепчет*): Местечковый клоун! Опереточный Клемансо!

БУХАРИН: В чем вы намерены нас обвинить?

ТРОЦКИЙ: Я обвиняю вас в том, что вы отняли у меня святое писание великого Маркса и использовали его в качестве холодного оружия при покушении на мою жизнь.

СТАЛИН: Вы сами виноваты в том, что падаете с ног от одного удара. Разрыв с партией Ленина приводит к физической слабости и политической импотенции.

ТРОЦКИЙ: Я обвиняю вас в том, что полгода назад вы украли название издаваемой мною газеты, цинично назвав священным именем "Правда" свой грязный листок, где каждое слово — сплошной обман.

СТАЛИН: Ошибаетесь, достопочтенный Троцкий. Это ваша полубуржуазная газетенка полна жалких интеллигентских измышлений. Наша "Правда" во имя победы пролетарского дела лишь изредка вынуждена идти на временное сокрытие истины, умолчание некоторых фактов, на диалектическое искажение подлинных событий. Мы это делаем сознательно на основе научного коммунизма. Опыт показал, что правда голой не рождается. Марксистско-ленинская правда всегда одета в благородные одежды цвета пролетарского знамени.

БУХАРИН: Правда — это классовое понятие. В каждой правде есть две правды — правда эксплуатируемых и правда эксплуататоров; точно так же как во всякой лжи надо различать ложь эксплуататоров и ложь эксплуатируемых; отсюда следует, что правда эксплуатируемых есть ложь эксплуататоров.

ГИТЛЕР: Ложь всегда прекрасна и соблазнительна, правда всегда горька и тяжела. Но придет день, когда ложь будет разоблачена, а правда победит.

ТРОЦКИЙ: Ложь исчезнет только с исчезновением классов.

СТАЛИН: Опять мы превращаем библиотеку в базар. Пойдем лучше в кафе, выпьем за мое здоровье, там все и обсудим.

ТРОЦКИЙ: Я только после Рождества смогу получить гонорар из "Киевской мысли".

СТАЛИН: Дорогой, при чем тут гонорар. Сегодня у меня день рождения, я всех угощаю. *(Гитлеру)*: Идемте с нами, товарищ.

ГИТЛЕР *(мнется)*: Среди вас евреев нет?

(Сталин, поглядывая на Троцкого, собирается что-то сказать).

ТРОЦКИЙ *(опережая его)*: Евреев нет. Есть один русский, один грузин и один интернационалист.

ГИТЛЕР: В таком случае, идемте.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Венское кафе. За столиком у большого итальянского окна сидят Сталин, Бухарин, Троцкий и Гитлер. В руках у них бокалы с шампанским. Из окна виден австрийский парламент.

БУХАРИН: Предлагаю тост за здоровье Робин Гуда революции — товарища Сталина!

СТАЛИН: Я, конечно, понимаю искренние чувства товарища Бухарина. Но с моей стороны было бы нескромно соглашаться на такой тост. По-моему, нам, революционерам, больше всего нехватает скромности. Пусть у нас будет больше скромности и меньше зазнайства, тогда мы сможем скорее победить нашего классового врага. Предлагаю выпить за здоровье моих дорогих друзей: пламенного революционера товарища Троцкого, любимца партии товарища Бухарина и представителя австрийской общественности товарища Гитлера. Мне, товарищи, очень приятно бороться с врагами в рядах таких товарищей.

(Все осушают бокалы).

БУХАРИН: Коба, расскажи, как ты грабил банки в Тифлисе. Мы здесь все свои, не стесняйся.

СТАЛИН: Я осуществлял политическое руководство грабжом. В эпоху империализма профессиональный грабитель — это не средневековый бандит с большой дороги, а сознательный борец за счастье трудящихся.

БУХАРИН: В чем же конкретно заключалось твое руководство?

СТАЛИН: Я читал товарищам медвежатникам лекции о международном положении, объяснял им теорию прибавочной стоимости Маркса, популярно пересказывал книгу Ленина "Развитие капитализма в России". Самое важное для нас сейчас — направить творческую энергию масс в нужное русло.

ГИТЛЕР: Массы подобны женщине: они отдаются сильным и мужественным вождям.

БУХАРИН: Поэтому для меня высшее наслаждение — слиться с массами в едином порыве революционного оргазма.

ТРОЦКИЙ: С чем можно сравнить наслаждение, которое испытывает вождь, насилием добывающийся от тупой женоподобной массы революционной сознательности!

СТАЛИН: Наслаждение — это когда ты ночью... в кровати... тайно... обдумываешь план мести своему врагу; а после того, как врагу нанесен смертельный удар, безмятежно засыпаешь в прохладной постели.

ГИТЛЕР: Подлинный вождь подчиняет себе массу не насилием, а убеждением. Ничто так не влияет на массы, как речь. Речь создает живую связь между вождем и миллионами последователей.

ТРОЦКИЙ: Маркс и Энгельс собрали миллионы последователей, не обладая ораторским искусством.

ГИТЛЕР: Им понадобились годы для того, чтобы добиться влияния.

ТРОЦКИЙ: Политические деятели делятся на ораторов, писателей и мыслителей. Вы — великий оратор, но плохой мыслитель... Да не обижайтесь, кто еще вам это скажет, кроме меня. Ленин — писатель, но не оратор. Бухарин тоже писатель, но не мыслитель. Очень редко встречается сочетание сразу трех талантов, как у меня. И уж совсем исключительное явление представляет из себя Сталин: он не мыслитель, не писатель и не оратор.

СТАЛИН: Опять в мой огород камешки?

ТРОЦКИЙ: Я вот тут австрийскому товарищу говорю, что только что ознакомился с тезисами вашей статьи по национальному вопросу. Вы знаете, я просто не ожидал от вас подобной глубины мысли и совершенства стиля. Никогда ничего подобного вы не писали и, я думаю, не напишете. Я уверен, что ваша статья нанесет смертельный удар по бундовцам, этим эпигонам австрийского утонченного национализма, перепевающим зады национально-культурной автономии.

СТАЛИН: По Отто Бауэру получается, что нация – это не живая и действующая сила, а нечто мистическое, неуловимое и загробное. Что это, например, за еврейская нация, состоящая из грузинских, дагестанских, русских, американских и прочих евреев, члены которой не понимают друг друга, живут в разных частях земного шара, никогда друг друга не увидят, никогда не выступят совместно ни в мирное, ни в военное время?! Нет, не для таких бумажных "наций" составляет социал-демократия свою программу.

ГИТЛЕР: Кровь сильнее любых бумажных документов.

ТРОЦКИЙ: Сталин, вы негодяй и убийца, но вы написали выдающееся теоретическое исследование, обогатившее марксизм.

СТАЛИН (*Гитлеру*): Адольф Алоисович, давай мы с тобой выпьем за то, что мечты наших матерей не осуществились. Я хочу сказать, что наши матеря мечтали о том, чтобы мы стали священниками, а мы пошли совсем по другому пути. Я лично об этом не жалею.

ГИТЛЕР: Я не считаю, что пошел совсем по другому пути. Просто вместо того, чтобы быть провинциальным священником, я стал пророком.

СТАЛИН: Вот я и говорю, если бы мы с тобой выучились на священника или там, скажем, на доктора или инженера, мы были бы ничтожествами, а сейчас мы Гималаи.

ГИТЛЕР: Подлинная гениальность всегда врожденна, она не приходит с дипломом, скорее наоборот, формальное образование выхолащивает гениальность.

СТАЛИН: Образование – это оружие, эффект которого зависит от того, кто его держит в руках и кого этим оружием надо убить.

ГИТЛЕР: Ну зачем же обязательно убивать?

БУХАРИН: В переходную эпоху, когда одна производственная структура сменяется другой, повивальной бабкой прогресса является насилие.

ГИТЛЕР: Для меня прогресс — это всеобщее смягчение нравов.

БУХАРИН: Не желаете ли смягчающего на полтинник? *(Смеется, очень довольный своей шуткой).*

СТАЛИН: Мы не можем продвигаться по пути прогресса в порядке плавного покачивания на волнах жизни. Наше продвижение вперед может протекать только в порядке борьбы.

БУХАРИН: *Sublata causa tollitur morbis..* Чем интенсивнее насилие, тем короче будет переходный период.

СТАЛИН: Здесь, Коля, я с тобой не согласен. Чем ближе мы будем подходить к социализму, чем ожесточеннее будет сопротивление враждебных пролетариату классов, тем безжалостнее будет пролетариат расправляться со своими врагами. Надо быть готовым к длительной кровопролитной борьбе за царство социализма.

БУХАРИН: Насилие — лишь временная вынужденная мера, необходимая для построения социализма с человеческим лицом.

СТАЛИН: Жопа ты, Коля, с человеческим лицом. Если тебе доводилось хотя бы однажды пускать кому-либо кровь, ты должен знать, какое это увлекательное захватывающее дело. Здесь очень трудно остановиться.

БУХАРИН: Мы не вивисекторы, которые ради опыта режут ножичком живой организм.

ТРОЦКИЙ: По-моему, Сталин прав. Переходный период продлится не годы и даже не десятки лет, а века и тысячелетия.

ГИТЛЕР: Неужели вам понадобится столько времени, чтобы уничтожить человечество?

ТРОЦКИЙ: Мы против хищнического уничтожения людей. В нашем социалистическом хозяйстве рубка человеческого материала будет проводиться планомерно. Мир мы поделим на деланки, и если, к примеру, в квадрате А мы всех людей вырежем, то в квадрате Б за энное количество лет народится новое поколение, готовое к тому, чтобы его ликвидировать.

ГИТЛЕР: С какой легкостью вы говорите об убийстве миллионов людей.

ТРОЦКИЙ: Убивая единицы, революция устрашает тысячи. Вопрос же о форме репрессий для нас не является принципиальным. Это вопрос целесообразности. Террор бессилен, если он применяется реакцией против исторически поднимающегося класса. Но террор может быть очень действенным против реак-

ционного класса, который не хочет сойти со сцены. Вы улавливаете этот *(поводит рукой перед носом Гитлера)* оттенок, святоша? Да? Для нас его вполне достаточно.

БУХАРИН: Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи. Чтобы получить яичницу, необходимо разбить яйцо.

ГИТЛЕР: Труд нельзя превращать в повинность. Только творческий труд способствует развитию прогресса.

ТРОЦКИЙ: Прогресс основан на человеческой лени. Человек есть довольно ленивое животное. Он всегда стремится поменьше работать, поэтому он изобрел орудия труда и машины. Задача партии состоит в том, чтобы лень вводить в определенные рамки, чтобы ее дисциплинировать, чтобы подстегивать человека при помощи способов и мер, изобретенных им самим.

ГИТЛЕР: Свободный труд производительнее принудительного.

ТРОЦКИЙ: Это положение верно по отношению к эпохе перехода от феодального общества к буржуазному. Но нужно быть либералом, чтобы увековечить эту истину и переносить ее на эпоху перехода от буржуазного общества к социалистическому.

ГИТЛЕР: Принудительный труд всегда непроизводителен.

ТРОЦКИЙ: Это самый жалкий и пошлый либеральный предрассудок. Вопрос в том, кто, над кем и для чего принуждение. Или, может быть, у вас есть секрет, как отделить свободный труд от белой горячки империализма, то есть повернуть общественное развитие на столетие назад? Возврат к свободному труду приведет мир к варварству и дикости, к гибели человеческой культуры.

БУХАРИН: О гибели какой культуры вы говорите? Культуре Шпенглеров, Кайзерлингов, теософов, восточных мудрецов, гадалок, негритянских танцоров, курильщиков опиума, святых пророков, утонченных эротоманов, отвратительных скептиков, Штейнеров, Андреев Белых, кликуш обоего пола, заумников всех мастей? Эту духовную проституцию, эту идеологию кастратов и педерастов, эту погань вы называете культурой и цивилизацией? Да эта культура пожрет самое себя, она задохнется в человеческом кале и крови, в ядовитых газах и во

вшах. На пепелище этой исчезнувшей цивилизации мы создадим такую культуру, перед которой капиталистическая цивилизация будет выглядеть, как выглядит "собачий вальс" перед героическими симфониями Бетховена.

ТРОЦКИЙ: Вы меня не так поняли. Я хотел сказать, что культура вырастает из борьбы человека с природой.

ГИТЛЕР: Того, кто считает себя покорителем природы, а на самом деле является разрушителем ее, природа наказывает нищетой, голодом и болезнями.

БУХАРИН: Природа наказывает еще больше того, кто не согласен с положением Чарльза Дарвина о том, что "from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of higher animals, directly follows." Сравним это с высказыванием Маркса о том, что "die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert." Что же касается телеологической мистики, то Дарвин со скрытой иронией цитировал в свое время Нодэна с его finalité: "puissance mystérieuse, indéterminée; fatalité pour les uns; pour les autres, volonté providentielle, dont l'action incessante sur les êtres vivants détermine, à toutes les époques de l'existence du monde, la forme, le volume et la durée de chacun d'eux, en raison de sa destinée dans l'ordre de choses dont il fait partie."

ТРОЦКИЙ (Сталину): Вот видите, какой у вас Бухарин умный. На трех языках свободно говорит...

БУХАРИН: Я могу и на четвертом:

? Qué es la vida? Un frenesi.

? Que es la vida? Una illusion.

Una sombra, una fuccion,

Y el mayor bien es pequeno,

Que toda la vida es sueno,

Y los sueños sueno son.

ТРОЦКИЙ: Вот, пожалуйста. Ваш товарищ даже Кальдерона в оригинале по памяти читает. А вы? Ни одного европейского языка не знаете. Позор!

СТАЛИН (сверкая от ярости глазами): Мой отец был не буржуазным интеллигентом и не сельским богатеем, а простым сапожником. Вам известно, господин Бронштейн, что пролетарии не в состоянии обучать своих детей иностранным языкам?

ТРОЦКИЙ: Мне известно, что у вас были лучшие, чем у Бухарина и у меня возможности для изучения иностранных языков. Вы провели в тюрьме и в ссылке в общей сложности восемь лет. Более идеальных условий для изучения иностранных языков, чем царская тюрьма и ссылка, трудно себе представить. Даже такой кретин, как Орджоникидзе, за время сибирской ссылки выучил немецкие неправильные глаголы.

СТАЛИН: Современные европейские языки слишком загажены эксплуататорскими классами. Я считаю, что языком мировой революции будет чистый, как боржомский родник, язык эсперанто. (*Обращаясь к Гитлеру*): Parli esperanto?

ГИТЛЕР: Jawohl!

(Пауза).

БУХАРИН: Коба, а сколько же тебе исполняется сегодня лет?

СТАЛИН: Тридцать три года.

ТРОЦКИЙ: Однако вы уже в возрасте Христа. Пора заводить себе апостолов.

СТАЛИН: Роль Христа, любезнейший Троцкий, меня не устраивает. Мне больше подходит роль верного ученика великого Ленина. Недаром же он кооптировал меня в число своих апостолов на недавней пражской конференции партии большевиков.

ТРОЦКИЙ: Если бы Иуда пришел к власти, он объявил бы остальных одиннадцать апостолов предателями.

СТАЛИН: Не смешивайте преданность генеральной линии партии с преданностью отдельным лицам, с этой пустой и ненужной либерально-интеллигентской побрякушкой.

БУХАРИН: Еще за две с половиной тысячи лет до Рождества Христова в знаменитом вавилонском кодексе Хаммурапи было заявлено, что "целью правителя является обеспечение в стране права, уничтожение дурного и злого, дабы сильный не вредил слабому". В существеннейших чертах эти либеральные благоглупости с серьезнейшим видом преподносятся и теперь.

ГИТЛЕР (*вздыхая*): Либеральные заблуждения присущи для всех эпох и всех поколений. Ведь я, господа, тоже когда-то был либералом. Я полагал, что любой вид диктатуры — это преступление против разума.

СТАЛИН: Молодости больше всего свойственны заблуж-

дения и всяческие обывательские порывы. Помню, я как-то в юности нищему пятак подал. До сих пор не могу простить себе этого гнилого либерализма.

ТРОЦКИЙ: Все нищие — миллионеры. У нас в Одессе, на Молдаванке, жил один нищий по имени Сема-Гривенник. Он "работал" только три раза в неделю: по субботам он стоял с шапкой у синагоги, по воскресеньям у церкви, а по пятницам у мечети. И что вы думаете? Таки за несколько лет он накопил столько денег, что купил доходный дом на Дерибасовской.

ГИТЛЕР: А у нас в Линце на Зонненблюменгасее жил одноногий нищий, который просил милостыню у кафедрального собора. Звали его Франтишек Выкоукал, чех по национальности, между прочим. Был он отставной матрос, а ногу он потерял 20 июля 1866 года во время морского сражения в Адриатическом море, когда доблестная австрийская эскадра под командованием контр-адмирала графа фон Теггетхоффа отбила наглую попытку итальянского агрессора захватить исконно австрийский остров Лисса. Так вот, Франтишек этот за счет подалий содержал в Линце семью и любовницу в Праге.

БУХАРИН: Для меня нищие — это прежде всего жертвы капиталистического строя.

ТРОЦКИЙ: Строго научно, они не жертвы нынешнего строя, а провозвестники будущего. Ведь в процессе перманентной революции, которая будет сопровождаться войнами внутренними, гражданскими и внешними, революционными, — обнищание народных масс неизбежно.

БУХАРИН: Так выпьем же за здоровье одного из тех скромных тружеников революции, кто с кропотливым усердием приближает славное время великих классовых битв. Твое здоровье, Коба!

СТАЛИН: Все теплые слова, которые были здесь сказаны по моему адресу, я отношу за счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по своему образцу и подобию. Можете не сомневаться, товарищи, я готов и впредь отдать делу рабочего класса всю свою кровь, каплю за каплей.

ГИТЛЕР: Да, господа, в великое время мы живем.

БУХАРИН: Если грядущие поколения оценят наш вклад в историю мировой цивилизации, им придется воздвигнуть в нашу честь такой памятник, что он своим величием затмит пирамиду Хеопса.

ГИТЛЕР: Я бы хотел, чтобы на моей могиле не было никаких титулов, кроме моего имени: Адольф Гитлер. Свой титул я сам себе создам своим именем и своей индивидуальностью.

СТАЛИН: Зачем в мой день рождения о могиле говорить, а? Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил!

ТРОЦКИЙ: Сталин, я сегодня не перестаю вами удивляться! Вы, оказывается, не только выдающийся теоретик марксизма, но и неплохой поэт.

СТАЛИН: Это не я, это Уолт Уитмен. Этот американский мелкобуржуазный поэт довольно точно охарактеризовал сущность пролетарского духа, духа нашей великой эпохи.

ГИТЛЕР: Величие нашего времени в том, что оно рождает великих людей. В какую еще эпоху в одном месте могли собраться сразу четыре великих человека? Я имею в виду подлинно великих людей, а не убежденных в своем величии ничтожеств, подобных тем пигмеям, что ежедневно взбираются по ступеням австрийского парламента, величественная архитектура которого лишь подчеркивает ничтожность этих людишек. О нет! Ступени, ведущие к пантеону истории, предназначены не для трусов, а для героев. Каждый из нас знает, насколько тяжел удел подлинного героя: сановные ничтожества смеются над ним, толпа его не понимает, и только время остается единственным его союзником. Время!

СТАЛИН: Неумолимое, оно всегда берет свое, несмотря ни на что.

ГИТЛЕР (*патетически*): Время! (*Слышен бой башенных часов*). Что это?

СТАЛИН: Время.

ГИТЛЕР: А который же это час?

БУХАРИН: Три четверти девятого.

ГИТЛЕР (*хватается за голову*): Господи, я же не попаду домой, в девять часов дворник закрывает парадное. Мне придется ночевать на улице!

СТАЛИН: Не расстраивайся, Адольф Алоисович. Я подвезу тебя на извозчике. Ты где живешь?

ГИТЛЕР: Фельберштрассе, около Западного вокзала.

СТАЛИН: Вот и прекрасно, нам с тобой по пути. Я живу в "Шенбрунне".

ГИТЛЕР: Как? Прямо во дворце?

СТАЛИН: Пока что не во дворце. Там рядом пансион есть,

”Шенбрунн” называется. *(Слышно цоканье копыт)*. А вот и извозчик. Останови его, Адольф Алоисович.

(Гитлер выбегает за кулисы и вскоре возвращается).

ГИТЛЕР *(разводя руками)*: Мимо промчался, не останавливаясь.

СТАЛИН *(глядя в окно, в сторону удаляющегося извозчика)*: Эх птица-тройка, куда же мчишься ты?

БУХАРИН *(иронично)*: Карету мне, карету!

ТРОЦКИЙ *(дремавший до сих пор, вскакивает. Развернувшись всем телом, громовым голосом произносит)*: Пролетарий, на коня!

Потеряв равновесие, падает. Он так и продолжает лежать на сцене, когда опускается

ЗАНАВЕС

ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ?

*Почему русские ссорятся?
спросила как-то респектабельная
немецкая газета.*

*Что это? Склоки или принципиальные
разногласия?*

*В одном из ближайших номеров
мы предполагаем обсудить и это.*

Михаил Рейман

ДОКУМЕНТЫ КАМУНА СТАЛИНЩИНЫ

Публикуемые ниже документы руководства ВКП(б) 1927 и 1928 гг. помещены в приложении к моей книге "Рождение сталинизма"*, подготавливаемой теперь "Синтаксисом" к изданию на русском языке. Эти документы хранятся в Политическом архиве германского Министерства иностранных дел (Auswärtiges Amt) в Бонне, где имеется относительно большая коллекция советских документов конца двадцатых годов, в том числе и документы Политбюро и ЦК ВКП(б), Совнаркома Союза ССР и Президиума ЦИК СССР, а также должностная корреспонденция ряда ведущих советских политиков. Они бросают новый свет на некоторые вопросы советской истории того периода, дают возможность заглянуть в "кухню" советской политики и более четко распознать обстоятельства, которые вели к окончательному оформлению сталинского террористического режима.

В приложении к книге впервые публикуется 12 документов, относящихся к должностной корреспонденции И. В. Сталина, А. И. Рыкова, В. Р. Менжинского, Г. К. Орджоникидзе, Г. В. Черина, М. И. Калинина, Н. А. Кубяка и М. М. Литвинова, а также записи выступлений В. Р. Менжинского и В. В. Куйбышева на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) в конце января 1928 г.

* M. Reiman, Die Geburt des Stalinismus. Die UdSSR am Vorabend der «zweiten Revolution», Frankfurt/M, 1979.

В нескольких письмах Сталина, а также в письме Менжинского, относящихся к последним двум месяцам 1927 г., всплывает на свет провокация — обвинение оппозиции в ВКП(б) в попытке осуществить 7 ноября 1927 г. насильственный государственный переворот, — примененная Сталиным и Менжинским для того, чтобы изменить преобладающее в руководстве ВКП(б) сдержанное отношение к внутрипартийным репрессиям и в особенности к использованию в целях внутрипартийной борьбы средств ОГПУ. Публикуемые документы показывают, что разгром оппозиции был использован Сталиным не только для конкретных репрессий против оппозиционеров, но и для создания внутри партии и государственного аппарата специального механизма слежки и шпионажа, предназначенного для вылавливания "неблагонадежных" (т.е. "ячейки наблюдения" ОГПУ).

Следующая группа документов — выступление Куйбышева на заседании Политбюро ЦК в январе 1928 г., как и письма Рыкова, Литвинова, Кубяка и Калинина — по-новому освещают глубину и катастрофичность экономического и социального кризиса, разразившегося в СССР на переломе 1927 и 1928 гг. Документы прямо говорят об угрозе существованию "диктатуры пролетариата", об угрозе летального исхода для власти и об ее неспособности справиться с положением при помощи нормальных средств. В этой связи становятся понятным быстро прогрессирующее подчинение низших ступеней партийного, государственного и хозяйственного аппарата надзору ОГПУ, находящее широкое отражение в указанных документах.

Нельзя не отметить то исключительно большое значение, которое руководящие органы ВКП(б) придавали иностранной экономической помощи сперва в деле строительства СССР, а затем при преодолении разразившегося хозяйственного кризиса. В ряде документов говорится о невозможности справиться с задачами хозяйственного строительства без участия зарубежного капитала и о том, что советское правительство не располагает средствами для "самостоятельного" выхода из кризиса. Готовность советского правительства пойти на уступки иностранным державам предстает в новом свете — она продиктована заинтересованностью в получении иностранной экономической помощи. Именно этой заинтересованностью объясняется, в частности, готовность пойти на уступки в вопросе о монополии внешней торговли, каковое обстоятельство советское руководство (а вместе с ним и в полном согласии с ним и современная советская историография) всегда отрицало, относя любые слухи и сведения об этом исключительно за счет "клеветнических измышлений" оппозиции.

Наконец, следует отметить документы, относящиеся к некоторым обстоятельствам "Шахтинского дела" — первого сфабрикованного политического процесса сталинской эры, инсценированного в общегосударственном масштабе. Они показывают

расхождение мнений и борьбу по этому вопросу в руководстве ВКП (б). В совокупности с другими материалами, хранящимися в архиве германского Министерства иностранных дел, они отражают попытки А. И. Рыкова и Г. В. Чичерина ослабить отрицательные последствия этого дела.

Из 12 документов, данных в приложениях к моей книге, для журнальной публикации выбраны документы 1-3 — письма Сталина от 11.11.1927 г. (с приложением письма Менжинского от 10.11.) и 12.11.1927 г., а также его недатированное письмо, относящееся к ноябрю-декабрю 1927 г. Эти документы важны для понимания хода и последствий борьбы руководства ВКП (б) с оппозицией, как об этом говорилось ранее. Документ 5 — запись выступлений Менжинского и Куйбышева на заседании Политбюро ЦК в конце января 1928 г. Выступление Менжинского связано с предшествующим комплексом документов, посвященных борьбе с оппозицией, выступление же Куйбышева важно для понимания глубины хозяйственного кризиса СССР в этот период. Документ 7, постановление Совнаркома от 2.3.1928 г., важен в особенности для понимания разрушающего действия кризиса на политическую систему страны, на подчинение партийных и государственных органов надзору со стороны ОГПУ, и в то же время воспроизводит картину сопротивления низовых звеньев партийного аппарата этому процессу. И, наконец, документ 8, письмо Рыкова Менжинскому от 12.3.1928 г., характеризует некоторые аспекты борьбы в партийном руководстве вокруг "Шахтинского дела".

При чтении этих документов необходимо иметь в виду, что они, конечно, не во всех деталях отражают тогдашнее положение в стране, а потому могут привести к односторонним заключениям. Указать на это важно также и потому, что документы публикуются в данном случае вне связи с текстом книги, в которой я имел возможность учитывать более широкий круг источников, в том числе и другие материалы, хранящиеся в архиве германского МИДа. Такая односторонность может возникнуть особенно при оценке конкретных ситуаций и роли отдельных лиц.

Указанные документы сохранились в немецком переводе. Русских оригиналов, поступавших первоначально в военное ведомство, не удалось обнаружить. Возникла необходимость обратного перевода на русский язык, что в свою очередь неизбежно означает отклонение от первоначального текста. За редкими исключениями, мы старались не исправлять шероховатостей стиля, т.к. нам казалось, что они относятся не столько к переводу, сколько к оригиналу. Слова в квадратных скобках вставлены нами там, где они казались необходимыми по смыслу, но такие вставки имеют лишь условный характер, т.к. нельзя выяснить, в каком отношении они находятся к оригинальному тексту.

Все документы извлечены из секретных донесений, поступавших в 1927-28 гг. в адрес министерального директора германского МИДа (Auswärtiges Amt) Герберта фон Дирксена (с осени 1928 г. ставшего послом Германии в Москве). Они хранятся в Политическом архиве МИД ФРГ в Бонне.

1

Генеральный секретарь
Коммунистической партии

Москва — Кремль, 11.11.27

Секретно

Центральному комитету большевистской партии
Копия — Председателю Центральной контрольной комиссии тов. Орджоникидзе

Праздники¹ прошли в целом спокойно. Отдельные незначительные осложнения в Москве и более серьезные конфликты в Ленинграде. Из Харькова и Киева сообщают о небольших демонстрациях, направленных против Центрального комитета партии. Как мы теперь можем установить на основании неопровержимых данных, оппозиция готовила на 6-8 ноября решающий переворот, имевший целью захват власти. Благодаря в первую очередь предусмотрительным и энергичным мерам тт. Ворошилова и Менжинского, оппозиции пришлось в последний момент отказаться от своего плана, т.к. согласно донесениям доверенных лиц из среды оппозиции, переворот вследствие принятых контрмер потерял надежду на успех. С другой стороны, мы, однако, располагаем многими независимыми друг от друга сообщениями о том, что путч хотя и отложен, но не отменен. Поэтому приходится постоянно считаться с возможностью неожиданного активного выступления оппозиции, направленного на захват власти. Несмотря на то, что тов. Менжинский с присущей ему тщательностью принял все меры, мы должны сохранять постоянную бдительность, чтобы немедленно пресечь в зародыше возможность неожиданных ударов против нас.

Интересы партии требуют, чтобы теперь, после того, как мы проявили столько терпения, оппозиция была окончательно ликвидирована. Международное положение также требует /принятия самых/ решительных мер против оппозиции. Ведь уже се-

годня в Лондоне и Вашингтоне высказывается мнение, что наше нынешнее правительство — на грани падения, что к власти придет оппозиция и поэтому нет смысла вступать с нами в договорные отношения. Серьезность экономического положения требует доказать за границе, что ее представления о силе оппозиции ошибочны и что в действительности оппозиционные главари — генералы без армии. Сотрудничество оппозиции с явно контрреволюционными организациями за границей доказано, и, если оппозиция не откажется от борьбы, признав ее бесперспективной, мы обязаны, не колеблясь, исключить всех ее руководящих деятелей из партии еще до съезда².

Чтобы подчеркнуть и документально подтвердить серьезность положения, прилагаю отчет тов. Менжинского.

Подписано: Сталин.

Приложение:

Председатель ОГПУ
10.11.27

Хотя юбилейные праздники прошли внешне без осложнений, мы не должны предаваться иллюзиям и ложным надеждам. Не подлежит сомнению, что планировался всесторонне обдуманный путч с целью свержения рабоче-крестьянского правительства, и, кроме того, /намечалось/ множество террористических актов. Донесения наших многочисленных доверенных лиц о подготовке переворота, о секретных телефонных точках во всех частях города, об уличных патрулях, связанных с этими телефонными точками, в настоящее время полностью подтверждены. В свое время я указывал на это, тем не менее многие руководители партии с неоправданным оптимизмом говорили о преувеличенной серьезности моих сообщений. Между тем, мы располагаем неопровержимыми доказательствами, что задуманный переворот был отменен лишь в последнюю минуту, очевидно по совету Троцкого, в связи с его бесперспективностью. Если бы мы не приняли многих чрезвычайных контрмер, то попытка переворота (успешная или безуспешная, — это другой вопрос) имела бы место. Мы располагаем теперь достоверными сообщениями, что Троцкий был с самого начала против такого переворота во время юбилейных праздников, обосновывая свое мнение тем, что данный момент для переворота чрезвычайно неблагоприятен, что рассчитывать на успех тогда, когда все наши силы отобилизованы, не приходится. Те же упомянутые доверенные лица, донесения которых о задуманном

перевороте оказались правильными, сообщают, что боевая организация³ переворот отложила, но не отказалась от него во все.

В многих независимых друг от друга донесениях сообщается о том, что боевая организация издала секретный приказ, в котором настоятельно указывается, что переворот в настоящее время откладывается, как беспспективный, вследствие принятых нами надежных контрмер, с тем, что он будет осуществлен тогда, когда мы окажемся неподготовленными и соотношение сил будет более благоприятным.

В этом приказе указывается (так же как это предусматривалось уже в связи с путчем, намеченным на дни юбилейных праздников) на необходимость захватить в первую очередь Кремль, здание ОГПУ, Главный телеграф и радиостанции. Начинаясь в Москве или проходящие через нее железнодорожные линии должны быть в ряде мест разрушены, чтобы усложнить или вовсе не допустить подвоз надежных частей из провинции. Одновременно с Москвой такие же действия должны были быть предприняты в Ленинграде и Харькове. Далее в том же секретном приказе боевой организации говорится, что пропаганда в среде рабочих и рабоче-крестьянской армии должна быть продолжена всеми средствами впредь до дальнейших распоряжений. Особенно в армии. На разлагающее действие пропаганды в армии я уже неоднократно указывал, хотя, к сожалению, не всегда с желательным эффектом. События /происшедшие/ в Ленинграде 7.11, свидетельствуют об очень серьезных опасных сдвигах в настроении воинских частей⁴. Не следует обманывать себя тем, что это будто бы — единичные факты; например, положение дел на Украине, судя по совпадающим выводам гг. Балицкого и Якира⁵, нисколько не лучше.

Следует поэтому в ближайшее время ожидать со стороны оппозиции по меньшей мере столь же энергичной пропаганды, как и до сих пор. Судя по сегодняшнему положению дел, она будет направлена в первую очередь на разложение в армии. Губительное воздействие оппозиционных воззваний было мне полностью подтверждено тов. Ворошиловым. Нынешнее тяжелое хозяйственное положение и перебои в снабжении продовольствием вполне естественно поощряют такую пропаганду.

Если мы будем и дальше попустительствовать этой пропаганде в тех размерах, которые она приняла, мы проявим непротитительное легкомыслие, на последствия которого я хочу еще раз настоятельно указать. События в Ленинграде с полной очевидностью показывают, что разлагающая пропаганда оппозиции затронула также низший командный состав и что в случае ре-

шающей борьбы можно сильно сомневаться в его надежности. К моему глубокому сожалению я вынужден сделать вывод, что в отличие от недавнего прошлого часть армии разъедаема заразой и что даже командиры теперь часто не являются в полном смысле этого слова надежными. Тов. Ворошилов признает серьезность положения и полностью разделяет мои пессимистические настроения.

Мы должны отдавать себе ясный отчет в том, что интересы рабоче-крестьянской власти защищены лишь постольку, поскольку мы можем рассчитывать на безусловную надежность рабоче-крестьянской армии. Если это не так, то перед нами совершенно новое положение.

В различных отчетах я неоднократно указывал на пестроту состава сторонников оппозиции и высказывал мнение, которого я придерживаюсь и сегодня: все эти оппозиционные движения не были бы сами по себе столь большими и опасными, если бы мы разом ликвидировали всех сколько-нибудь значительных руководителей оппозиции. Думаю, что могу с уверенностью обещать, что если бы мы одним ударом ликвидировали руководителей, то движение как таковое само сошло бы на нет.

Я вполне понимаю сомнения, которые высказывают Центральный комитет и лично гг. Сталин и Бухарин по поводу преждевременного обезвреживания оппозиционных главарей. Вполне допускаю, что первое впечатление от ликвидации всех главарей оппозиции может быть в Западной Европе неблагоприятным. Допускаю, что иностранная социал-демократия использует эти наши меры для самой широкой пропаганды против нас. Нам, однако, не следует забывать, что коммунистическая пресса за границей ориентирует массы в духе Центрального Комитета партии, и, учитывая подготовку оппозиции к решительной борьбе, мы должны отбросить уступчивость и мягкотелость.

В связи с серьезностью положения я вновь предупреждаю: дальнейшие колебания и нерешительность являются сегодня преступным легкомыслием. Мы должны решиться на энергичные действия, даже если бы нам пришлось их всех разом перарестовать. Пока у нас для этого есть власть и сила. Можно ли с уверенностью утверждать, что мы будем способны на это и через три-четыре месяца? Из нашей нерешительности оппозиция заключает, что мы слабы и что мы ее боимся. Это т свой взгляд она весьма ловким способом внушила руководящим государственным деятелям великих держав, что весьма неблагоприятно сказывается на наших попытках вступить с ними в договорные отношения⁶.

Еще раз подчеркиваю, что, по моему мнению, с учетом

пестрого внутривластического состава оппозиции опасность не так велика, как принято считать, если ее главари будут разом обезврежены. Хочу надеяться, что Центральный Комитет, учитывая очень серьезное внутривластическое положение и начинающееся разложение в армии, выскажется, пока не поздно, в пользу предлагаемых мною решительных мер против главарей /оппозиции/.

Подписано: Менжинский.

Примечания к документу № 1

1. Имеется в виду празднование 10-ой годовщины Октябрьской революции в 1927 г.
2. Речь идет о XV съезде ВКП (б), проходившем со 2 по 19 декабря 1927 г. Партийное руководство не раз публично обещало не предварять решений этого съезда. Предложение Сталина исключить из партии вождей оппозиции меньше чем за месяц до открытия съезда уже само по себе с достаточной определенностью говорит о том, какие причины стоят в действительности за провокационными утверждениями о готовящемся перевороте, которые являются основным содержанием как его письма, так и последующего донесения Менжинского. Характерно, что изложенную здесь версию о якобы готовившемся восстании оппозиции Сталин решился изложить публично лишь раз, во время празднования годовщины Октябрьской революции в 1931 г. Она была тогда решительно отвергнута Троцким (см. Бюллетень оппозиции, № 27, март 1932 г., стр. 15-16). Несостоятельность этой версии была настолько очевидна, что впоследствии она не вошла ни в одно из официальных изложений истории СССР.
3. Выражение "боевая организация" используется здесь Менжинским с умыслом – чтобы вызвать ассоциацию с террористической организацией партии социалистов-революционеров. В действительности существование особой "боевой организации" оппозиции приходится целиком отнести на счет фантазии ОГПУ и его агентуры. Характерно, что и эта версия никогда не использовалась в дальнейшем советской официальной исторической литературе.
4. В описаниях событий октября 1927 г. в Ленинграде, известных до настоящего времени, нет никаких более четких указаний на ненадежность частей гарнизона. Остается поэтому неясным, какие именно события или происшествия вызвали столь сильное беспокойство Менжинского.
5. В. А. Балицкий был в этот период руководителем украинского ГПУ. И. Э. Якир – командующим военным округом.
6. Имеется в виду политика договоренности с капиталистическими странами, проводившаяся на основе резолюции Политбюро ЦК от 27.12.1926 г. Она практиковалась в особенности в 1927 г. и была рассчитана на развитие более интенсивного экономического сотрудничества с западными державами.

2

Генеральный секретарь
Коммунистической партии

Москва — Кремль, 12.11.27 г.
Строго секретно

Центральной контрольной комиссии,
ЦИК Союза ССР,
/ЦК/ Коммунистических партий союзных республик,
Председателям Совнаркомов союзных республик,
Председателю коллегии ОГПУ тов. Менжинскому,
Народному комиссару по военным и морским делам и Пред-
седателю Верховного военного совета тов. Ворошилову.
В архив ВКП (б).

На основании резолюций Центрального Комитета партии от 10 и 11 ноября, теперь, когда раскрыты активные и заговорщические замыслы оппозиции, с нашей стороны должны быть приняты энергичные меры защиты. Обо всех существенных происшествиях необходимо немедленно сообщать Председателю ОГПУ тов. Менжинскому с копией Центральному комитету.

От подчиненных вам властей необходимо требовать наибольшей бдительности и осмотрительности. Более подробные директивы /последуют/ в ближайшие дни.

Подпись: Сталин

3

Генеральный секретарь
большевистской партии.
Лично. И.н. А 41.27.
Секретно. Курьером.

1. Центральному Комитету большевистской партии.
2. Копия Председателю Центральной Контрольной Комиссии тов. Орджоникидзе.

Исключения из партии, как это было единогласно призна-
но на последнем заседании Политбюро, не принесли в целом
ожидаемого эффекта, несмотря на капитуляцию некоторых ве-
дущих деятелей оппозиции. Мы не можем удовлетвориться до-

стигнутыми результатами, поскольку они не привели к окончательной ликвидации /опасности/, и сдать дело в архив. Даже по отношению к тем, кто публично капитулировал, остается очень большим вопросом, намерены ли они действительно честно выполнить /свои/ обещания. В честность убеждений* я не могу поверить уже хотя бы потому, что капитуляция произошла лишь тогда, когда дело оказалось окончательно проигранным.

Прежний опыт "капитуляций" нам показал, что в таких случаях речь идет не о честном подчинении партийному руководству, а о ловких тактических маневрах, на которые мы каждый раз попадались. Боюсь, что мы и на этот раз столкнемся с тем же. Хотя я не могу полностью разделить весьма пессимистически сформулированное мнение коллегии ОГПУ, я считаю тем не менее, что положение серьезно, прежде всего потому что деятельность оппозиции в последнее время направлена на самые крепкие бастионы коммунизма, — на рабочих и рабоче-крестьянскую армию, на их подрыв и разложение.

Хотя в настоящее время, вследствие своевременно принятых защитных мер, доступ оппозиции к рабоче-крестьянской армии сильно затруднен, она сохраняет немало возможностей продолжать работу, направленную против Центрального Комитета в промышленных городах и фабричных районах.

Что касается пополнений рабоче-крестьянской армии, я также не могу, как уже упоминалось, разделить серьезные опасения коллегии ОГПУ и формулирую мое мнение по данному вопросу следующим образом: крестьянство не питает к оппозиции никаких симпатий, оно даже относится к ней враждебно уже хотя бы вследствие ее программы.

Полностью поддерживаю предложения тов. Менжинского принять более жесткие меры против арестованных пропагандистов. Это, очевидно, единственное, чем мы можем серьезно бороться против разлагающей пропаганды, дискредитирующей партийное руководство. Лица, избалованные в ведении такой пропаганды, письменной или устной, должны расцениваться не иначе, как шпионы, поскольку они действительно являются шпионами и пособниками наших внутренних и внешних врагов.

Я согласен также с тем, что в таких случаях приговоры должны выноситься не обычными судьями, а соответствующими органами ОГПУ. Несколько таких устрашающих примеров произведут должное впечатление.

Что касается партийного и государственного аппарата, то хотя мне и здесь дела не представляются столь плохими, как

* Правильно, очевидно, "заверений".

коллегии ОГПУ, но я также считаю существующее положение нетерпимым. Недопустимо, что на всех уровнях /партийной жизни/, вплоть до наивысших, мы находимся под слежкой. Ни одно секретное распоряжение не остается секретным. Не позднее чем через неделю копии /наших/ документов доставляются в Берлин, Париж, Варшаву. От левых радикалов они через меньшевиков поступают к немецким социал-демократам, к капиталистическим правительствам — так что те постоянно осведомлены о наших секретнейших делах, о наших самых секретных решениях. Дело Белобородова достаточно показательно¹. Не могу не отметить, что в капиталистических странах такие действия караются смертной казнью как государственная измена, и не вижу причин, почему нам не защищать диктатуру пролетариата при помощи самых жестких мер.

Предложенный коллегией ОГПУ план², который я при сем возвращаю, после продолжительного изучения я могу лишь полностью одобрить. Организационно и практически он разработан образцово. От создания предложенных ячеек я ожидаю существенного облегчения в деле наблюдения за враждебно настроенными элементами в партии, партийном руководстве и государственном аппарате и в выявлении таковых. Я также ходатайствую перед Центральным комитетом партии о незамедлительном создании таких ячеек в соответствии с директивами, разработанными тов. Менжинским, т.к. сегодняшнее положение нетерпимо. Партийный и государственный аппарат должен быть как можно скорее очищен от всех ненадежных элементов и снова стать тем аппаратом, каким он был прежде.

Надеюсь, что партийное руководство прислушается наконец к этим моим серьезным соображениям. Наша уступчивость, проистекающая из нашей силы, воспринимается нашими врагами в противоположном смысле — как слабость, и не случайно некоторые секции Коминтерна сетуют на весьма неблагоприятное впечатление, которое эти факты производят за границей. Хотя вначале я сам, в интересах единства партии, был противником радикальных мер и постоянно надеялся, что изменники возьмутся за ум, сегодня я должен признать, что совершил ошибку. Но именно осознание ошибок и их открытое признание составляют нашу силу, в отличие от буржуазных правительств, которые считают себя непогрешимыми.

То обстоятельство, что все секретные отчеты и подлинные документы, касающиеся всех областей внутренней и внешней политики, военных и хозяйственных вопросов, попадают в кратчайший срок в руки иностранных правительств через оппозиционную организацию и ее доверенных лиц, уже нанесло нам

неисчислимый ущерб. Мы не можем никоим образом терпеть далее, чтобы за каждым нашим шагом следили, — и не наши враги, которых легко поймать, но наши коллеги, которые якобы с ними сотрудничают, а потому представляют особую опасность. У нас чрезвычайно много слабых мест, представляющих собой находку для капиталистов. Их использование наносит тяжелый удар по нашей программе восстановления /народного хозяйства/. Иначе мы давно бы ушли вперед. Чистку партийного и государственного аппарата следует провести как можно скорее. Не половинчатыми мерами, а радикально. Из этих аппаратов должен быть устранен каждый, на кого падет хоть малейшее подозрение. Мягкотелый либерализм тут неуместен, и если при этом случайно пострадают отдельные невиновные, то в интересах большого дела это никакой роли не играет.

По приведенным /выше/ соображениям я рекомендую Центральному комитету немедленно принять проект коллегии ОГПУ. Наряду с указанным никоим образом недопустимо, чтобы настроение рабочих, уже само по себе /достаточно/ подавленное вследствие тяжелого хозяйственного положения, ухудшилось бы еще больше. Никакой половинчатости — как совершенно правильно предупреждает коллегия ОГПУ.

Подписано: Сталин

Примечания к документу № 3

1. Имеется, очевидно, в виду инцидент, происшедший на Урале и получивший тогда широкую внутрипартийную огласку. Один из руководителей оппозиции А.Г. Белобородов, еще в должности Народного комиссара по внутренним делам РСФСР, "разъяснил" после одного из собраний постовому, "кому он служит".
2. Упоминаемый здесь "План коллегии ОГПУ" остается неизвестным. Его составной частью было создание "ячеек наблюдения" с целью выявления "враждебных", т.е. оппозиционных, элементов в партии и в государственном аппарате. Все письмо Сталина в целом является выражением мнения по этому документу ОГПУ.

Письмо Сталина, судя по содержанию, не могло возникнуть раньше ноября 1927 г. С другой стороны, приводимый в заглавии шифр — А 47.27 — относится несомненно еще к 1927 г.

Выступления В.Р.Менжинского и В.В.Куйбышева на заседании Политбюро ЦК, очевидно совместно с Совнаркомом и Президиумом ЦИК СССР. (Публикуются с сокращениями).

Конец января 1928 г.

Товарищ Менжинский: Прежде чем высказаться по /существу/ выступления тов. Ворошилова¹, я хотел бы дать Вам краткий обзор внутривластного положения, как я его лично оцениваю.

Опираясь на параграф 58², мы, по примеру капиталистических государств, имели бы основания принять самые суровые меры против оппозиции без того, чтобы она могла угрожать нас в терроре. Я хотел бы в этой связи напомнить лишь о существующем в Германии законе в защиту республики и о различных процессах по делам о государственной измене в Лейпциге, по которым выносились смертные приговоры³. Я нахожу поэтому, что решение Центрального Комитета удалить оппозиционные элементы из крупных городов, снять их с государственных и партийных должностей было действительно совершенно правильным решением⁴. То, что делала оппозиция, было, по понятиям капиталистических государств, явной государственной изменой⁵. Государственная измена карается в Германии, в Англии и во Франции многолетним тюремным заключением или даже смертной казнью. Мы же, напротив, нашли гораздо более удачное решение. Не заключая оппозиционных главарей в тюрьму, для чего у нас были все основания, мы парализовали их дальнейшую деятельность. В тех местах, где они в дальнейшем должны содержаться, они, несмотря на то, что остаются на свободе, не могут, как и в тюрьме, ничего предпринять. Связь между оппозицией и ее сторонниками прервана. Это главное, и своей цели мы добились. (Громкие аплодисменты). Было бы, тем не менее, ошибкой теперь, после нашей победы, признанной повсеместно за границей, как говорится, почитать на лаврах. (Громкие аплодисменты). Теперь следует разделиться и со сторонниками /оппозиции/. (Громкие аплодисменты). С учетом положения Центральный Комитет принял все пункты моего предложения, касающегося чистки. Работая рука об руку с тов. Орджоникидзе, мы приняли необходимые меры для чистки партийного аппарата от ненадежных элементов⁶. Я считаю, что на сегодняшний день до 70% этих ненадежных элементов уже вычищено из партии. Труднее была работа в административном аппарате, где сегодня, по моему мнению, еще не

устранено и половины оппозиционных элементов. Создание ячеек наблюдения, которые я в свое время предложил, дало хорошие результаты⁷. Несмотря на это, работа в данной области только начата, и пройдут еще месяцы, прежде чем мы очистим административный аппарат настолько, что сможем говорить о полном успехе. Но все же сделан большой шаг вперед. Можно считать, что оппозиционное движение в общем и целом ликвидировано. То, что мы видим сегодня — последние вспышки агонии. Однако, мы должны способствовать превращению агонии в окончательную смерть, прежде чем они вновь соберутся и, возможно, под новым руководством начнут против нас борьбу. Я полностью разделяю мнение тов. Чичерина, о том, что переговоры с границей нарушались оппозиционным движением, поскольку там, под влиянием состоящей на службе у капиталистов социал-демократической прессы, создавалось впечатление, что рабоче-крестьянское правительство поколеблено и что Советский Союз стоит перед новой революцией. Вполне понятно, что при таких взглядах, которые им были очень ловко навязаны, группы финансового капитала ведут себя по отношению к нам недоверчиво. Результаты партийного съезда и осуждение оппозиции народом не остались без последствий. Как очень правильно сообщает тов. Чичерин, за границей намечается явный перелом в оценках внутреннего положения в Советском Союзе. Поэтому в интересах строительства мы должны действовать еще энергичнее, чтобы, окончательно ликвидировав оппозицию, показать за границей, что о подрыве рабоче-крестьянского правительства в Советском Союзе не может быть и речи, что сегодня никакого оппозиционного движения больше вообще нет. Я дал в этом смысле указания подчиненным мне секциям ОГПУ. Во всяком случае с моей стороны приняты все меры, чтобы со всей энергией в кратчайшие сроки очистить партийный и административный аппарат ото всех ненадежных элементов. Результаты, достигнутые нами на сегодня, были хорошими и у нас нет никаких оснований сомневаться в /целесообразности/ полного без остатка осуществления мер, которые окончательно устранят из партийного и административного аппарата все меньшевистские и контрреволюционные элементы (Громкие аплодисменты)⁸.

Заканчивая свой доклад, я хотел бы вам сказать несколько слов и о другом направлении деятельности оппозиции. После краха оппозиционного движения в СССР и после отхода от него части главарей, оппозиция, как мне кажется, хочет попытаться применить другой метод борьбы, а именно: расколоть отдельные коммунистические партии за границей путем их на-

травливания на Центральный комитет большевистской партии. Эта деятельность становится в особенности ощутимой в Германии, во вторую очередь — в Австрии, но /она заметна/ и во Франции⁹. Левокоммунистические усилия в этих, а также других странах финансируются и поддерживаются, очевидно, большими средствами¹⁰. Апеллируя к грубым инстинктам невежественной массы, /они/, суля невыполнимые обещания, обвиняют руководство большевистской партии в измене. Это левокоммунистическое движение в последнее время особенно сильно возросло в Германии, так что даже немецкая секция Коминтерна указывает на серьезность возникшего вследствие этого положения. Присутствующий здесь тов. Бухарин подтвердит, что почти все секции Коминтерна жалуются на рост левокоммунистического движения в их партиях.

Реплика тов. Бухарина: Совершенно верно!

Тов. Менжинский (продолжает): Эта пропаганда, инспируемая, несомненно, троцкистами, а еще вероятнее Зиновьевым¹¹, таит исключительно большую опасность для единства заграничных коммунистических партий, где борьба против оппозиции вполне естественно встречает гораздо большие затруднения, чем у нас.

Согласно секретным сообщениям, число сторонников оппозиции в Коминтерне растет. Даже тов. Бухарин жаловался мне позавчера на это. Мы с ним советовались, какие можно принять контрмеры. В этих переговорах мы еще не пришли к окончательному и единому мнению. Тов. Бухарин намерен переслать мне короткую Памятную записку об этом, по которой я хочу затем — на основании своей информации — высказаться и предложить Центральному Комитету совместную Памятную записку. Во всяком случае ясно, что левокоммунистическое движение внутри зарубежных коммунистических партий является серьезной угрозой не только единству партий, но и всему Коминтерну, и что с нашей стороны должны быть скорейшим образом приняты меры, чтобы и там ликвидировать оппозицию, как мы ее ликвидировали на территории Советского Союза. С учетом серьезности этих событий я предлагаю Центральному Комитету в кратчайший срок подробно рассмотреть эту, ставшую такой острой, тему на соответствующем специальном заседании¹². (Продолжительные громкие аплодисменты).

Куйбышев:¹³ Итак я возвращаюсь к своей теме о хозяйственном положении в связи с поступившими в Центральный Комитет предложениями тов. Чичерина, принятие которых зависит главным образом от заключений специалистов¹⁴. Я, правда, на сегодня еще не закончил итогового сопоставления всех

отзывов наших наиболее надежных специалистов и советников, но тем не менее, тщательно изучив, могу их в общих чертах изложить, — что, в конце концов, является главным делом. Итоговая оценка будет вам разослана уже в ближайшие дни, и вы найдете там подтверждение того, что я вам сейчас кратко изложу: что касается хлебозаготовок, то я, как вы помните, сразу же, в начале, при составлении соответствующего бюджета, высказывал сильные сомнения в /их/ выполнимости; и не потому, что предусмотренного количества нет налицо, оно есть¹⁵.

Реплика тов. Менжинского: Хлеб имеется в избытке, так как урожай был выше среднего, местами даже хороший!

Тов. Куйбышев (продолжает): Ошибка заключается в том, что крестьянин, побуждаемый товарным голодом почти во всех областях — я бы даже сказал во всех областях, — придерживает хлеб, поскольку обменивать его на деньги он не хочет. В обмен на промышленные товары он, однако, без сомнения выдал бы излишки. В деревне, к сожалению, все еще часто распространено мнение, что деньги ненадежны, и оппозиция, как и другие реакционные группы, делает все, чтобы утвердить крестьянство в этом /убеждении/. Они шепчут ему на ухо: "Не бери денег, они не имеют ценности; скоро будет новая инфляция и ты тогда потеряешь все". И крестьянин, который находится на еще более низком уровне культуры, чем горожанин, слушает и проникается недоверием. Он придерживает все, что может. И не из недоверия к государственному строю, совсем нет, поскольку он начисто отвергает всякое антибольшевистское движение. Он знает, что любое другое правительство будет против его интересов и что буржуазное правительство первым делом отнимет у него все его привилегии. Так думает крестьянин!

Реплика тов. Калинина: Совершенно верно!

Тов. Куйбышев (продолжает): Здесь соответствующая пропаганда и просвещение оставляют желать лучшего. (Гул одобрения в зале). Крестьянин — безусловный сторонник нашей системы, но он становится косвенно нашим врагом, когда будучи недостаточно грамотным и подвергаясь пропаганде наших врагов, он придерживает хлебные запасы и явно саботирует нашу хозяйственную программу.

Реплика тов. Менжинского: Я думаю, что слово "безусловный" все же, как минимум, несколько преувеличено. Крестьянин имеет свои особенности, и я сомневаюсь в том, является ли он в действительности таким большим другом рабочих¹⁶.

Тов. Куйбышев (продолжает): Существуют только два пути для осуществления этой программы, от которой для нас зависит исключительно многое: повышение производства в

промышленности, преодоление товарного голода, чтобы крестьянин мог покупать, и опровержение в деревне пропаганды и лозунгов враждебно к нам настроенных элементов: будто бы наши деньги нехороши. Последнее не требует много сил, гораздо сложнее, напротив, первая проблема, которая, к сожалению, прочно связана с хлебозаготовками. От большего экспорта хлеба и сырья зависит производство промышленности. Мы должны, следовательно, *сначала* заготовить хлеб и произвести сырье, так как мы не располагаем никакими другими средствами для /покрытия/ импорта. Без чужой финансовой помощи другого пути не существует. На продолжительное время невозможно, чтобы торговый баланс непрерывно ухудшался. Новый хозяйственный год начался очень печально и, насколько можно оценить условия на ближайшее время, проходит под знаком явной депрессии. Предложенные мне оценки всех специалистов сходятся на том, что об улучшении на хлебном и сырьевом рынке не может быть и речи до тех пор, пока не будет преодолен товарный голод. Но, чтобы преодолеть товарный голод, нашей промышленности необходимы не только деньги, но также существенное улучшение машин и оборудования, следовательно, увеличение импорта. Как мы, однако, можем этого добиться там, где товарный голод зависит не только от самой индустрии, но, в первую очередь, от того, что необходимый для его преодоления импорт зависит от увеличения доходных статей, следовательно, от хлебного и сырьевого экспорта. У нас, к сожалению, в действительности происходит обратное: доходные и для строительства решающие статьи падают с каждым месяцем и в декабре упали настолько, что создавшееся положение дает повод для самых больших опасений. (Волнение в зале). Январь не сможет принести никакого улучшения; напротив, из-за зимы следует ожидать дальнейшего ухудшения. Как единодушно сообщают все специалисты, положение на сырьевом рынке очень серьезное. Это также на 80% вызвано товарным голодом.

Промышленности, следовательно, необходима помощь, она вопиет о помощи. Ей недостает не только некоторого импортируемого из-за границы сырья, она нуждается в отечественном сырье и в безотлагательном улучшении оборудования. Подумайте, рабочие многих заводов работают по 20-30 лет, а то и еще дольше, на тех же станках, вышедших из строя и устаревших! Любой станок, даже самый лучший, приходится когда-нибудь заменять. (Аплодисменты в знак одобрения). Я попросил специалистов подготовить для меня соответствующие производственные ведомости о состоянии станков и оборудования и разделил этот список на три части: *1-ая категория* — совершен-

но новые импортные станки; заводы с еще, в известной степени, годными, следовательно не слишком старыми станками — *категория 2*; и заводы с совершенно устаревшими станками и оборудованием — *категория 3*. Этот пример чрезвычайно интересен и поучителен. Различия в производительности между 1-ой и 3-ей категориями доходят порой до 40%. Это чудовищная цифра! (Аплодисменты в знак одобрения). Задумайтесь над тем, какую продукцию мы имели бы, если бы мы, как это, собственно говоря, должно было бы быть, располагали лишь заводами 1-ой и 2-ой категории. В каком положении мы могли бы находиться тогда. Не было бы товарного голода. (Аплодисменты). Но нет смысла здесь сетовать на то, что есть, и мечтать о том, что могло бы быть. Дела обстоят так, как есть, и мы должны попытаться найти выход. Хотя пока я лично реального выхода не вижу, я не хочу сказать, что положение безвыходно и что мы должны опустить руки. В 1921 г. положение было еще опаснее и мы его тем не менее преодолели¹⁷. (Громкие аплодисменты). С другой стороны, я никак не хочу замалчивать, что хозяйственное положение исключительно тяжелое, что мы в данный момент и при данных обстоятельствах вынуждены говорить не о строительстве, а об обратном движении, которое становится чрезвычайно заметным во всех областях хозяйственной жизни в связи с хлебным и сырьевым кризисом, в связи с падением промышленного производства. Я хочу здесь привести вам лишь некоторые, подготовленные надежными статистиками цифры, чтобы вам стало ясно, насколько в последнее время положение ухудшилось и обострилось. *Пассивность внешнеторгового баланса* в ноябре по сравнению с октябрём возросла на 8,4%. *Производство сырья* упало на целых 9,2%. *Хлебозаготовки* показывают очень существенный недобор. *Общее производство тяжелой и легкой промышленности* осталось в ноябре на 18%, в декабре на 21,4% ниже предполагавшегося уровня. Это страшные цифры! (Гул одобрения).

Мне очень жаль, что на мою долю выпала неблагоприятная задача — докладывать в противовес моим предшественникам лишь о неблагоприятном, но я при всем желании не могу в этой области доложить ни о чем благоприятном. Даже нефтяная промышленность показывает, хотя и не в такой степени, ухудшение, а из промышленной области Украинской Советской Республики раздаются все громче голоса, требующие станков, оборудования и денег. То же относится к Уральской промышленной области, а из угольных шахт Сибири также докладывают об ухудшении. *Индекс*, подсчитанный совместно для ноября и декабря, поднялся, как логическое следствие этих событий,

еще на 4%, и недостаток денег, как докладывает тов. Брюханов*, становится все более серьезным. Повсюду задержки с доходными статьями. В налоговых поступлениях недобор около 16,5%, что надо считать исключительно серьезным. Задолженность тяжелой промышленности по налогам возросла в ноябре на 3,1% и в декабре на 5,8%. Нет почти никаких перспектив, что положение во всех указанных областях в январе улучшится. Я не хочу возбуждать у вас никаких напрасных и неоправданных надежд и говорю поэтому, что в январе и феврале положение должно почти наверняка ухудшиться.

Единственной возможностью улучшить положение были бы большие и долгосрочные товарные кредиты. Другого пути я не знаю. Что это ухудшение, продлится оно долгое время, станет невыносимым, вы все сами понимаете. Мы стремимся к строительству, а откатываемся месяц за месяцем назад. Это никак не восстановление, а — резко выражаясь — постепенное умирание. (Движение в зале). Поэтому мы должны, как энергичный врач, который не хочет дать пациенту умереть, осуществить в этом случае самое энергичное хирургическое вмешательство в нашу хозяйственную жизнь. Ведь мы не хотим умереть, мы хотим жить. (Гул одобрения в зале)¹⁸.

Я знаю, что многие товарищи из других ведомств выражают сомнения, иногда весьма серьезного свойства, против дальнейших уступок в вопросе о монополии внешней торговли. Конечно, ее ослабление является для нас отнюдь не идеалом. (Аплодисменты в зале). Мы не должны, однако, забывать, что мы, как единственное пролетарское государство в мире, должны временно считаться с необходимостью компромиссов. Напоминаю вам о том, что Ильич в интересах сохранения диктатуры пролетариата подписал исключительно неблагоприятный для нас Брестский мир и тем самым сорвал возможность восстановления монархии с помощью немецкой военщины. (Громкие аплодисменты)¹⁹. Сегодня мы в сходном положении²⁰. Ильич опирался на одну группировку против другой. Сегодня в точности то же самое²¹.

Мы должны, как правильно предложил тов. Сталин, натравить друг на друга всю капиталистическую свору. Англию против Соединенных Штатов, Германию против Франции, Японию против Соединенных Штатов, Англию против Франции и т.д. Когда речь идет о конкурентной борьбе, дружба немедленно отбрасывается в сторону. В меньшем масштабе мы переживаем это в связи с концессией Уркарта.

* Народный комиссар финансов.

Мы должны разжигать пламя. Пусть они при этом разобьют друг другу лбы: мы будем тогда тем третьим, который смеется. По всем этим приведенным соображениям и в связи со страшно тяжелым хозяйственным положением я отказываюсь от всех сомнений и полностью присоединяюсь к мнению тов. Чичерина. Во всяком случае, наверняка лучше временно пойти на компромисс, чем потерпеть крушение. Как уже говорилось, обобщающие заключения специалистов будут вам пересланы в ближайшие дни, и вы увидите из них исключительную серьезность положения, так и то, что у нас остается лишь этот один выбор.

Дальнейшее движение вспять нашей хозяйственной жизни нетерпимо. Приведенные цифры достаточно ясны. Или мы хотим погибнуть из чисто принципиальных соображений? Это было бы изменой заветам Ильича! Во всяком случае, так, как сейчас, дальше нельзя; это вам всем придется признать после зрелого размышления. (Громкие аплодисменты).

Примечания к документу № 5

1. Основным пунктом повестки дня стоял доклад К.Е. Ворошилова о призыве в запас Красной армии офицеров старой армии.
2. По этой статье рассматривались дела о "контрреволюции", т.е. о политических преступлениях. Она давала возможность исключительно широкой и расширительной трактовки этих преступлений.
3. Закон в защиту республики был принят в Германии 21.7.1922 г. сроком на пять лет с дальнейшим продлением. По этому закону преследовались преступления, направленные против конституции и государственного устройства. В Лейпциге одновременно учреждалась судебная палата, занимавшаяся рассмотрением этого рода дел (Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik).
4. Комплекс этих мер был руководством ВКП (б) одобрен в конце 1927 — начале 1928 г. Его составной частью были решения о высылке ведущих деятелей оппозиции в отдаленные районы СССР и предложения Менжинского и Орджоникидзе о заключении "среднего кадра" оппозиционеров в концентрационные лагеря и т.д.
5. Неясно, какие именно действия оппозиции имеет в виду Менжинский, поскольку сам факт оппозиции не считался ни в Германии, ни в названных далее Франции и Великобритании никакой "государственной изменой", а нормальным актом политической жизни. Речь, очевидно, идет об обвинениях в подготовке государственного переворота, шпионаже и саботаже, выдвигавшихся Сталиным при содействии ОГПУ (см. док. № 1-3).
6. Подразумевается сотрудничество ОГПУ с ЦКК ВКП (б) и Рабоче-крестьянским

трянской инспекцией при чистке партии и государственного аппарата от оппозиции. Орджоникидзе был Председателем ЦКК и Наркомом РКИ.

7. Ср. док. № 2.

8. Выпущены два абзаца, в которых В.Р. Менжинский выражает свое согласие с предложениями Ворошилова по включению в запас Красной армии офицеров старой армии.

9. Речь идет о так наз. ультралевых группах за рубежом, из которых наибольшее значение придавалось группе Р. Фишер, А. Маслова и Г. Урбанса в Германии. В Коминтерне существовало представление, которым некоторое время руководствовался также Наркоминдел, что в выборах весной 1928 г. в Германии и во Франции эти группы будут опасным противником официальных коммунистических партий. В действительности же они собрали лишь очень небольшое число голосов.

10. ОГПУ и его заграничной агентурой, особенно берлинской, распространялись слухи, что оппозиция в СССР, как и "ультралевые" за рубежом, финансируется из средств германской социал-демократии. В действительности именно недостаток финансовых средств был одной из существенных причин неразвитости массовой пропаганды "ультралевых", что сказалось и на результатах выборов 1928 г.

11. Это предположение основывается на том, что Зиновьев долгие годы занимал пост Председателя Коминтерна.

12. Это заседание состоялось 26.2.1928 г. и приняло соответствующую резолюцию.

13. Выпущено начало речи В.В. Куйбышева – две с половиной страницы машинописного текста, не относящегося к характеристике хозяйственного положения.

14. Имеются в виду дальнейшие меры по смягчению монополии внешней торговли.

15. В целом можно сказать, что руководство ВКП (б) значительно преувеличивало как благосостояние деревни, так и наличие в ней свободных запасов хлеба.

16. Выпущена реплика М.И. Калинина о необходимости соблюдать повестку дня.

17. Имеется в виду положение весной 1921 г., когда вследствие политики "военного коммунизма" вспыхнуло восстание в Кронштадте и большевистское правительство оказалось под непосредственной угрозой свержения. Приводимые далее Куйбышевым цифры резко расходятся с официально публиковавшимися данными. Нам не удалось установить имена "надежных статистиков", о которых здесь упоминает Куйбышев, ни источника сведений, на который они опирались. Можно, однако, предположить, что здесь в зародыше были применены те методы сокрытия правды, которые пышно расцвели в последующие годы, начиная с 1928.

18. Выпущены 4 строчки общего характера.

19. Выпущено 6 строчек общего характера.

20. Выпущены две фразы общего характера.

21. Выпущена фраза общего характера.

Союзный Совет народных комиссаров принял по предложению Народного комиссара земледелия¹ и по предложению Председателя ОГПУ² следующее постановление:

Председатель
Совета народных комиссаров
Союза Советских Социалистических республик
1.6.137
Москва — Кремль, 2.3.28 г.

Секретно. Лично. После ознакомления уничтожить³.

Постановление.

Согласно сообщениям тов. Менжинского, среди деревенского населения ведется интенсивная пропаганда с целью саботировать и поставить под серьезную угрозу всю хозяйственную программу рабоче-крестьянского правительства. Нет необходимости особо отмечать, что такую пропаганду активно поддерживают кулаки. Гораздо более опасно, однако, то, что эта пропаганда, сильно угрожающая хозяйственной жизни, находит живой отклик среди среднего и даже бедного крестьянства.

Как совершенно справедливо отмечает тов. Менжинский, наши соответствующие партийные органы проявили в этой своей работе, по большей части, полную беспомощность — только так можно объяснить, что контрреволюционная пропаганда развернулась в столь большом масштабе.

Как единодушно сообщают органы ОГПУ, крестьянство настроено исключительно плохо и его настроения носят уже сегодня явный мелкобуржуазно-контрреволюционный характер.

Партийным работникам, по большей части, совершенно неясно, что является их обязанностью и что входит в круг их работы. Чтобы свалить с себя этот груз, они, как правило, считают, что ведение разъяснительной работы является делом ОГПУ. После 10 лет с лишним режима пролетарской власти вряд ли можно поверить, что партийные работники не знают, что разъяснительная работа является, в первую очередь, их обязанностью. Органы ОГПУ не ведут никакой активной работы /в этой области/, а /занимаются/ исключительно деятельностью по надзору. Они не имеют ничего общего ни с пропагандой, ни с какой-либо другой подобной деятельностью.

На основании решения Центрального Комитета Централь-

ная Контрольная Комиссия произведет ревизию с целью установить, какие ответственные инстанции или работники оказались не на высоте своих задач. Центральная Контрольная Комиссия и Совет Народных Комиссаров совместно распорядились принять крутые меры против тех элементов, которые не признают ответственности своих задач и не выполняют своих обязанностей. Центральный Комитет согласился предоставить Центральной Контрольной Комиссии для ее решений неограниченные полномочия.

Прискорбным свидетельством низкого уровня партийных работников является то, что ОГПУ в течение всех последних месяцев не без оснований докладывает: партийные работники (или же соответствующие партийные инстанции) совершенно явно иногда саботируют работу ОГПУ и видят в нем не своего союзника, а противника, надзирающего над ними.

Здесь необходимо пройти каленым железом. ОГПУ и его органы являются исполнительной властью пролетариата и тем самым исполнительными органами рабоче-крестьянского правительства.

Их обязанностью является повсеместно надзирать, чтобы повсюду, вплоть до самых отдаленных областей /СССР/, выполнялась воля народа.

Органы ОГПУ, как было сказано, существуют для того, чтобы наблюдать, исполняется ли повсеместно — в соответствии с распоряжениями рабоче-крестьянского правительства — воля народа.

Рабоче-крестьянское правительство с согласия Центрального Комитета партии просило Председателя ОГПУ тов. Менжинского докладывать о каждом без исключения случае, где будет установлено недружелюбное отношение партийных органов к ОГПУ, на предмет дальнейшего расследования дела Центральной Контрольной Комиссией и наказания виновных. Одновременно я распорядился немедленно, вплоть до окончания расследования, освобождать таких партийных работников от исполнения обязанностей. Рабоче-крестьянское правительство ни в коем случае не потерпит, чтобы органы пролетарской диктатуры своей пассивностью поддерживали политику саботажа контрреволюционных элементов в деревне.

Во всех подобных случаях контрреволюционной деятельности ОГПУ является ценнейшим сотрудником в борьбе за сохранение пролетарской диктатуры. В качестве такового оно осуществляет надзор над всем происходящим на территории Советского Союза вне зависимости от того, относится данное действие к политической, хозяйственной или военной области.

Рабоче-крестьянское правительство, поддерживаемое подавляющей массой пролетариата и /всего/ народа, одержало победу над внутривластительской контрреволюционной деятельностью оппозиционных элементов и тем самым доказало, что представляет волю трудящихся масс. Народ решительно осудил контрреволюционные действия оппозиционеров, направленные на то, чтобы разбить единство ленинской партии. После того, как руководство оппозиции убедилось в том, что оно ничего не может добиться при помощи лжи, извращений и клеветы, оно отказалось от бесперспективных усилий в политической области.

Однако, оно не собиралось /до конца/ отказаться от преступной борьбы, хотя эта борьба была решительно осуждена народом. После своего поражения на политическом фронте оно /т.е. оппозиционное руководство/ перенесло свою деятельность на разложение рабоче-крестьянской армии.

Хотя исключительно искусно составленные воззвания были в огромном количестве распространены в рабоче-крестьянской армии, они никакого успеха не имели.

Соответствующие военно-партийные органы оказались на высоте положения. Они, совершенно правильно оценив ситуацию, начали проводить разъяснительную работу еще до появления этих пропагандистских материалов — тем самым контрреволюционная пропаганда наших врагов вообще не смогла возыметь действия. Сокращение пропагандистской деятельности наших врагов является лучшим свидетельством того, что /даже сами/ оппозиционеры видят, что им здесь, как и на политическом фронте, ничего добиться не удастся.

Хотя непосредственной опасности проникновения заразы в ряды рабоче-крестьянской армии никогда не существовало, Центральному Комитету удалось тем не менее и здесь, в военной области, добиться убедительной победы над контрреволюционными элементами.

Однако и после этого поражения оппозиция не прекратила своей деятельности. Увидев, что ей никогда не удастся завоевать на свою сторону рабоче-крестьянскую армию, она перенесла свою активность в хозяйственную область, ту, где мы, учитывая капиталистическое окружение, особенно уязвимы.

Цель наших врагов совершенно ясна: используя тяжелое хозяйственное положение рабоче-крестьянского правительства, саботировать проходящие хозяйственные переговоры с границей. Потерпев поражение как на внутривластительском, так и на военном фронтах, наши враги нанесли нам ряд ощутимых ударов в хозяйственном отношении⁴.

С конца декабря действие этой, направленной против нас

пропаганды, все более заметным образом обнаруживается в переговорах с заграничными капиталистическими группами. Пропаганда наших врагов против нас за границей была все еще недостаточной для достижения ими своих целей. Рабоче-крестьянскому правительству в его собственной стране надо было нанести такой удар, чтобы за граница потеряла всякую веру в силы нашего хозяйства и нашего строительства.

До сих пор деятельность наших врагов сосредотачивалась среди городского населения, теперь, приблизительно с середины января, центр тяжести контрреволюционной работы перенесен в деревню. Для усиления контрреволюционной деятельности было использовано тяжелое положение нашей промышленности. При этом я в первую очередь имею в виду падение промышленной продукции и усиление товарного голода. Повсеместно распространялись слухи о якобы предстоящей в ближайшее время войне, о предстоящей вскоре новой инфляции, о якобы предстоящей всеобщей блокаде против нас. Агенты наших врагов нашептывали во все уши: "Придержите зерно и продовольствие, червонцы в скором времени обесценятся, тогда у вас по крайней мере будут материальные ценности!"

Весьма прискорбно, что на одиннадцатом году пролетарской диктатуры такая пропаганда в большинстве случаев находит благодатную почву. Уже в январе хлебозаготовки по сравнению с декабрем значительно понизились, а в феврале они упали до катастрофической точки. Согласно только что законченным статистическим сводкам, за февраль было заготовлено лишь 40% предусмотренного количества /зерна/. Это обстоятельство — катастрофично, оно срывает в полном смысле этого слова любую созидательную работу пролетарского правительства. Не иначе обстоит и с производством сырья, которое в феврале по сравнению с январем упало на 23%

Такое движение вспять во всех областях в течение продолжительного времени нетерпимо. К этому присоединяется то, что в снабжении продовольствием также можно отметить сильное падение поставок.

Если бы этот кризис в той же степени прогрессировал дальше, хозяйственное крушение стало бы неизбежным.

В интересах сохранения диктатуры пролетариата Совет Народных Комиссаров в полном единодушии с Центральным Комитетом принял решение применить суровые меры против тех, кто при помощи пассивного или активного сопротивления в хозяйственной области хочет свергнуть диктатуру пролетариата.

Совет Народных Комиссаров СССР совместно с Центральным Комитетом партии предоставил тов. Менжинскому исклю-

чительные полномочия также и по этим вопросам. Энергия и успешные действия тов. Менжинского являются гарантией того, что ему удастся победить наших врагов и принудить их к капитуляции и в последней области, хозяйственной. При этом, конечно, необходимо, чтобы партийные органы повсеместно всеми силами поддерживали работу ОГПУ, а не оказывали ей пассивного сопротивления, как это, к сожалению, нередко случалось в последнее время.

Повторяю еще раз: Совет Народных Комиссаров Союза ССР в полном единстве с Центральным Комитетом исполнен решимости не останавливаться ни перед какими мерами во имя сохранения диктатуры пролетариата.

Против любого партийного работника или партийной организации будут приняты, не взирая на лица, самые суровые меры, если будет доказано, что они путем пассивного или активного сопротивления саботируют директивы рабоче-крестьянского правительства.

Подчеркиваю, что тов. Менжинскому предоставлены исключительные полномочия по контролю за работой партийных органов, которые, к сожалению, оказались не на высоте поставленных задач.

О каждом отдельном случае прямого или косвенного саботажа хлебозаготовок или заготовок продовольствия немедленно извещать соответствующие судебные органы с копией местной секции ОГПУ. Любой отказ от /составления, передачи/ такого донесения будет рассматриваться как поддержка контрреволюционных действий. Прискорбно, что рабоче-крестьянское правительство на 11-м году существования пролетарской диктатуры должно прибегать к методам, которые обычно применяются лишь в капиталистических странах. Тем не менее, рабоче-крестьянское правительство, даже если бы ему пришлось прибегнуть к крайним средствам, добьется победы и на этом последнем фронте. Мы победим контрреволюцию! Мы сохраним диктатуру пролетариата, даже если наши враги удвоят усилия, чтобы ее свергнуть. За нами — сплоченные народные массы, и мы уверены в своей победе и на этом последнем участке борьбы.

Подписано: Рыков

Зав. делами Совета народных комиссаров СССР

за

(Подпись неразборчива)

Примечания к документу № 7

1. Н.А. Кубяк.
2. В.Р. Менжинский.
3. Уже форма секретности показывает, насколько серьезной считало ситуацию руководство ВКП (б). Она определялась, с одной стороны, неудачей попыток добиться скорой финансовой помощи из-за границы, с другой положением в хлебозаготовках, которые, согласно документу, "дошли до катастрофической точки". Личная форма документа может в данном случае вести к неправильной оценке роли А.И. Рыкова. Рыков, как до этого, так и в последующий период, относился к числу тех советских политиков, которые выступали против административных и насильственных методов решения кризиса. Именно эта позиция в сильнейшей степени предопределила его конфликт и разрыв со Сталиным. В данном документе Рыков, по-видимому, воспроизводит точку зрения, защищаемую В.Р.Менжинским и одобренную партийным руководством.
4. Роль оппозиции в неудачах руководства на хозяйственном фронте, как и в переговорах за границей, крайне преувеличена. О сознательной ориентации оппозиции на срыв хозяйственного строительства не приходится вообще и говорить.

8

Председатель
Совета народных комиссаров Союза ССР

Журнал: Заведующий делами
Совета народных комиссаров
Союза ССР
11/42. лично.
12.3.28 г. Москва — Кремль.

Председателю ОГПУ тов. Менжинскому.
Лично. Посыльным. Строго секретно. (Относится к 10.3.28).

На основе только что полученных от прокуратуры сведений я не могу разделить мнение органов ОГПУ в Харькове¹, во всяком случае в отношении обоих инженеров Гольдштейна и Вагнера². Обвинения против Гольдштейна вообще не поддаются юридическому определению.

Центральный Комитет партии немедленно займется этим вопросом и примет по нему конкретное решение после того, как прокуратура передаст сегодня Совету Народных Комиссаров соответствующие материалы. Могу, однако, уже теперь зая-

вить, что в том случае, когда речь идет о помощи иностранных специалистов в деле строительства нашей промышленности, местные органы ОГПУ должны, как минимум, обстоятельно проверять основания и подозрения, прежде чем решиться на шаг, способный сорвать не только нашу внешнюю политику, но и всю нашу хозяйственную жизнь. Центральный Комитет партии и вместе с ним я, как председатель Совета Народных Комиссаров, единодушно одобрил резолюцию, согласно которой тов. Балицкий не принял необходимых мер предосторожности и допустил такую самостоятельность местных органов /ОГПУ/, которая не соотносится с нашими законами³.

Подобная самостоятельность низовых органов ОГПУ способна нанести тяжелейший урон политике рабоче-крестьянского правительства по отношению к загранице.

Как сообщает тов. Чичерин, это дело может повлечь за собой большие осложнения, каковые в данный момент прямо противоположны интересам пролетариата.

Не менее важно то обстоятельство, что все дело сначала было представлено рабоче-крестьянскому правительству в таком виде, который теперь совершенно не подтверждается.

Рабоче-крестьянскому правительству были представлены данные, из которых многие совершенно не соответствуют реальным фактам. Это привело к принятию решений, на которых сегодня уже нельзя настаивать. Как следует из только что состоявшегося телефонного разговора с прокуратурой, многочисленные утверждения и мнимые доказательства, представленные по этому поводу ГПУ Украинской Советской Республики, совершенно необоснованы.

Такие сообщения вынуждают рабоче-крестьянское правительство принимать решения, которые не соотносятся с сознанием его ответственности перед пролетариатом.

Предполагаю, что резолюция Центрального Комитета от 26.2.28⁴ была изложена различным государственным и партийным инстанциям в такой редакции, которая не соответствует смыслу этой резолюции.

Поэтому от имени и по поручению Центрального Комитета партии я вновь формулирую (и соответствующее постановление распоряжусь сегодня же разослать всем соответствующим государственным учреждениям) резолюцию от 26.2.28 г., которая, к сожалению, неправильно понималась, — следующим образом:

Несмотря на то, что в настоящий момент имеет важнейшее значение сохранение единства партии, находящееся под сильнейшей угрозой со стороны оппозиционных и ультралевых

элементов — последних за границей, — нашей первой задачей по-прежнему остается программа нового строительства. Центральный комитет единодушно высказался в том смысле, что построение социалистического хозяйства невозможно без содействия иностранного капитала и иностранных специалистов.

Наша политическая позиция по отношению к буржуазии не должна при этом играть никакой роли. Я хотел бы только напомнить о том, что при жизни Ильич указывал на эту необходимость* в интересах пролетариата.

Резолюция Центрального Комитета, касающаяся наиболее важных задач, была, по-видимому, изложена низовым органам неправильно, так как со многих мест, в первую очередь из Наркоминдела, приходят жалобы на неправильное толкование указанных директив.

Из ряда мест нередко сообщают даже о том, что в результате такого непонимания непосредственно саботируется политика рабоче-крестьянского правительства.

Центральный Комитет партии ни в коем случае не потерпит такого, хотя бы и косвенного и несомненно невольного, саботажа своей политики и будет наказывать виновных по всей строгости пролетарских законов.

Рабоче-крестьянское правительство, в полном соответствии с мнением и резолюциями Центрального Комитета, не потерпит, чтобы низовые, не ответственные** органы партии или же государства саботировали наши решения, так как это, в конечном счете, соответствует тому, чего добивается оппозиция.

Коллегия ОГПУ вполне правильно изложила полученные директивы, тем не менее нижестоящие инстанции, в свою очередь, видимо, в порыве служебного рвения и не сознавая последствий, передали эти директивы дальше в несомненно ложном освещении, т.к. иначе поведение органов ГПУ Украинской Советской Республики выглядит совершенно непонятным. Наши собственные органы наносят удар в спину рабоче-крестьянскому правительству в тот момент, когда нам особенно необходимо содействие иностранного капитала и иностранных специалистов, чтобы хотя бы приостановить продолжающееся падение нашей хозяйственной жизни.

В полном согласии с Центральным Комитетом партии, я присоединяюсь к мнению тов. Чичерина:⁵ такие действия станут серьезнейшим образом под угрозу нашу программу строительства. Я не сказал бы ни слова, если бы знал, что все выдвинутые обвинения основаны на достоверных данных. Само со-

* Т.е. использования иностранного капитала и специалистов.

** Т.е. подчиненные.

бой разумеется, что первой задачей ОГПУ является охрана рабоче-крестьянского государства от враждебных планов капиталистов. В данном случае, однако, насколько я до настоящего времени информирован прокуратурой, не были, кажется, даже отдаленно соблюдены необходимые меры. Рабоче-крестьянскому правительству была оказана дурная услуга, особенно потому что дело здесь идет о загранице. Напротив того, оно, не располагая достоверными аргументами, будет вынуждено признать допущенные ошибки, что будет использовано нашими врагами за границей в качестве доказательства нашей все возрастающей слабости, а это, теперь особенно, не соответствует интересам пролетариата Союза ССР.

Пролетарские органы сегодня более, чем когда-либо, должны задумываться над необходимостью производить за границей впечатление, что наше положение не так тяжело, как принято повсеместно считать.

Резолюция Центрального Комитета по вопросу об арестованных инженерах, которая, видимо, будет принята завтра или послезавтра, поступит немедленно коллегии ОГПУ⁶.

Я хотел бы еще отметить, что Центральный Комитет полон решимости осуществить, очевидно, посредством тов. Бубнова, тщательное расследование, чтобы раз и навсегда исключить повторение таких случаев, которые не только срывают нашу хозяйственную жизнь, но и тяжело бьют по престижу советского правительства.

Подпись: А. Рыков

Примечания к документу № 8

1. Харьков был тогда столицей Укр. ССР, а, следовательно, штаб-квартирой украинского ГПУ.
2. Гольдштейн и Вагнер – служащие концерна АЭГ (Всеобщая компания электричества) – были арестованы в ночь с 5 на 6 марта 1928 г. вместе с некоторыми другими немецкими инженерами и освобождены после 10-дневного заключения на основании энергичных и резких протестов германского правительства – за недостатком улики.
3. Хотя гор. Шахты, где возникло дело, входил в состав Северокавказского края, большая часть Донбасса находилась на территории Укр. ССР. Расследование и аресты здесь производило украинское ГПУ, во главе которого стоял Балицкий. В противоположность распространенным версиям, приписывающим основную роль в фабрикации Шахтинского дела

А. Донде

КРИТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ

(О книге А. Янова "Происхождение автократии: Иван Грозный в русской истории". The Origins of Autocracy: Ivan the Terrible in Russian History. University of California Press, 1981.

*"Нацию создают те, кто пишет ее историю".
Кеннет Булдинг*

Книга А. Янова посвящена одной из самых важных тем в мировой культуре: феномену русской истории. Всеобщий интерес к ней объясняется тем, что русская история оказалась одним из важнейших фрагментов и факторов мировой истории. Дело не только в том, что Россия с некоторых пор стала одним из двух важнейших звеньев в системе международной безопасности, одним из двух главных геополитических центров мира, одной из самых активных наций новейшего времени. Не исключено, что, не поняв того, что произошло и происходит с Россией, мы просто не сумеем понять общего смысла мировой истории. Кажется, что Россия не только существенный структурный фактор мировой истории последних 200 лет, но и поучительный образец для любой национальной истории, а, возможно, до некоторой степени модель мировой истории.

Понимание своей истории через чужую связано с возможностями сравнительного подхода. Сравнительный подход, оперирующий понятиями сходства и различия, дает возможность каждой национальной историографии обнаружить потенциальные варианты собственной истории, которые в силу ряда обстоятельств не осуществились, но содержались в некоторых промежуточных ситуациях.

Существует интересная мифология, внушающая нам, что *полное* человечество включает в себя не только всех ныне живых, но всех уже умерших и не родившихся. По аналогии с этой красивой метафорой мы могли бы считать *полной* историей человечества не только совокупность тенденций, развернувшихся в полной мере, но и тенденций пресеченных, и даже — тенденций, имевшихся в зародыше.

Русская история представляет собой особую ценность для истории как науки именно в этом методологическом плане. Во-первых, она содержит в себе разнообразные возможности развития, не осуществившиеся, но оставившие достаточно заметные следы. Историческое объяснение обычно ограничивается объяснением (теологическим, генетическим, функциональным) того, что произошло. Но для полноты теории очень важно объяснить, почему что-то, наоборот, не произошло. Например, почему страна, принадлежащая к христианскому культурному кругу и шедшая какое-то время тем же путем, что и остальные европейские страны, впоследствии уклонилась в сторону, что привело к возникновению политической структуры и политической ментальности, столь не похожих на то, что возникло в западном варианте христианского мира. Этот вопрос важен и для самой русской культуры и для мировой культуры.

Во-вторых, при первом же взгляде на русскую историю бросается в глаза стабильность русской политической структуры. Причем стабильность особого рода. Не то чтобы однажды возникшая (созданная) политическая структура продолжала существовать на протяжении четырех веков — все Новое время. Совсем наоборот, политическая структура российского общества не раз начинала распадаться даже, казалось, распадалась совсем, но всякий раз возрождалась, как подчеркивает Янов, в неизменном виде. Если принять во внимание, что не только в русской действительности, но и в любой другой содер­жатся возможности для возникновения политической структуры с подобным свойством (А. Янов называет это свойство "неспособностью разрушить саму себя"), то станет ясно, насколько важно установить те обстоятельства, которые благоприятны для возникновения такого рода тупика, такой "культурной ловушки", как сказал бы Эдуард Сэпир, или такой "эволюционной ловушки", как обычно говорят биологи-эволюционисты. Каждый может в такую ловушку попасть.

Как же попало в "ловушку" русское общество? А. Янов высказывает на этот счет множество соображений. При этом он демонстрирует незаурядную наблюдательность, блестящую

объяснительную технику, богатое социологическое воображение и редкую способность улавливать тонкие зависимости между явлениями культурного, политического, экономического рядов. С каждым из его соображений можно соглашаться или не соглашаться. Их так много, а материал, привлекаемый автором, столь разнообразен, что понадобилось бы несколько специалистов разного профиля для того, чтобы обсудить аргументацию автора по тем или иным вопросам русской истории. Несомненно, что специалисты будут неоднократно обращаться к книге А. Янова и отдельным его высказываниям для того, чтобы использовать их в качестве аргумента, усомниться в них или показать их необоснованность. Очевидно, что работе А. Янова суждена долгая жизнь.

Обсуждение книги Янова уже началось в англоязычной прессе. Конечно, она будет обсуждаться и в русских изданиях. Но поскольку пока книга вышла только на английском языке, разумно сделать ее общее описание и отметить некоторые ее особенности, важные, на мой взгляд, в контексте русской и мировой общественной мысли.

1. Чрезвычайно важная особенность книги Янова — отсутствие какой-либо оценки русского этноса по результатам истекшей политической истории. Самые популярные, особенно в широких кругах "просвещенной публики", общие концепции русской истории связаны с ее "этнологизацией". Характер русской истории часто объясняется принципиальными особенностями русского этнического характера. Мифологичность подобного подхода представляется очевидной, если принять во внимание крайне скептическое отношение профессиональных антропологов к самому понятию "этнического характера".

Янов, таким образом, никак не связывает происхождение и устойчивость российской политической системы с "национальным характером" русских. Именно поэтому в книге Янова мы не находим никаких признаков русофобства, которое иногда сопутствует критическим очеркам русской истории. Я специально подчеркиваю это обстоятельство, поскольку работа Янова, будучи научным трудом, затрагивает темы, популярные у публицистов. А в этой среде, к сожалению, установилась странная традиция усматривать в любых интерпретациях русской истории либо русофобство, либо русофильство. Почему нельзя допустить, что во многих сочинениях нет ни того, ни другого? Как раз в книге Янова нет ничего подобного, и, как будет видно, это связано с его методологией.

Другая сторона дела заключается, однако, в том, что долгое господство определенной политической системы (а в Рос-

сии оно было достаточно долгим) в принципе может сформировать определенный тип гражданского поведения. Но тип гражданского поведения и национальный характер — вещи разные. Национальный характер — понятие идеально-типическое, тип гражданского поведения — понятие скорее эмпирическое. Национальный характер (если считать, что это не миф, а реальность) нечто чрезвычайно устойчивое. Не было бы смысла создавать это понятие, если бы оно не предполагало крайнюю устойчивость обозначаемого явления. Тип гражданского поведения, конечно, тоже обладает известной мерой устойчивости, но он гораздо более гибко реагирует на изменение обстоятельств. Другой вопрос — отразилось ли долгое господство авторитарной системы на национальной культуре, включающей в себя наряду с прочими элементами политическое сознание. Конечно, отразилось, и Янов показывает "политическую культуру" России, сложившуюся в этих условиях.

П. Чтобы показать ее, он использует материалы русской историографии царствования Ивана Грозного. Это — вторая важная особенность работы Янова. Включение историографии вопроса в историю вопроса дает интересный эффект. Таким образом удается показать, как авторитарная система порождает идеологический миф, который затем выполняет важную функцию в ее поддержании и сохранении. Русская политическая традиция и русская историографическая традиция тесно связаны и прервать одну почти невозможно, не покончив с другой. Традиция, заложенная в царствование Ивана IV, жива не только в политической структуре русского общества, но и в политической ментальности элитарных групп.

На многочисленных извлечениях из работ русских и советских историков разного калибра Янов показывает, как историко-политическая мысль России воспроизводит аргументацию Ивана Грозного (Янов называет это "историографический кошмар"), осуществившего глубокую социально-политическую реконструкцию русского общества (чтобы не сказать "революцию"). Суть социально-политической философии Ивана IV и массы последующих комментаторов его деятельности в самом общем виде проста: общество должно выбирать между порядком и хаосом. Беспорядок — безусловное зло. Стало быть, порядок должен быть установлен любой ценой.

Под "ценой" здесь следует понимать не только и не столько количество жертв, сколько особенность политической структуры, гарантирующей будто бы порядок. Если единоличное руководство в сфере исполнительной власти не гарантирует искомого порядка, оно должно быть дополнено единолич-

ным руководством в сфере законодательной власти. Это (по терминологии Янова) означает разрыв с традицией абсолютизма, которая складывалась в России при Иване III, и установление автократии при Иване IV. Этот переход осуществился методом террора и вместе с тем создал благоприятные условия для узаконения и увековечения государственного террора.

Царь Иван IV мотивировал все это необходимостью порядка. Он создал при этом такой странный порядок, который мог поддерживаться только с помощью того же террора. Малейшее изменение этого порядка грозило полным распадом структуры и воцарением беспорядка. Царь Иван IV, по-видимому, очень неправильно понимал, что такое порядок и что такое беспорядок. Сейчас хорошо видно, что беспорядок, которого боялся Иван IV и которым он пугал всех остальных, вовсе не был беспорядком, и наоборот, порядок, которого хотел Иван, был на самом деле полным хаосом. Однако с того момента, как был установлен этот лже-порядок, угроза хаоса стала вполне реальной. Воображаемая альтернатива между полным порядком и полным хаосом, из которых общество якобы всегда должно ответственно выбирать, стала в российской политической действительности вполне реальной альтернативой. Отход от порядка, установленного Иваном IV, в самом деле ставил русское общество на грань полного хаоса, и выход из этого хаоса всегда находился один и тот же: реставрация. Именно эта ситуация и укрепила в русском политическом сознании почти манихейскую доминанту в виде альтернативы "порядок-хаос" и неспособность осмысливать перспективы политического развития в каких-либо иных терминах.

Из этого заколдованного круга, пишет Янов, не могла вырваться не только апологетическая традиция в русской общественной мысли, но и критическая также. Анализируя эту критическую традицию, Янов обращает внимание на то, что в отличие от апологетической традиции она не была связана с альтернативной политической системой. Стиль ее аргументации поэтому несет на себе отпечаток той политической культуры, которая оказалась свойственной русскому обществу после установления авторитарной политической системы. Вот как описывает Янов эту ситуацию: "... оппоненты Ивана Грозного, начиная от Курбского и кончая Веселовским, всегда были скорее диссидентами, нежели оппозиционерами. Иначе говоря, они спорили, обличали, негодовали, проклинали, они были правдивы и сильны в своей критике, пока одной критики было достаточно. Но позитивной альтернативы автократии они не выдвинули. Они не видели ее ни теоретически, ни исторически.

Они работали, не опираясь на древнюю и мощную абсолютистскую традицию русской культуры, на традицию, которая их породила, но которую они не смогли сделать своим оружием. Зато их противники... опирались на столь же древнюю и мощную авторитарную традицию, на предрассудки нации, пережившей татарское иго и культурную революцию опричнины, на могучее стремление к оправданию сильной власти Хозяина страны (с большой буквы)..."

III. Следующая важная особенность работы Янова заключается в том, что он рассматривает русскую политическую структуру как местное явление, сложившееся под влиянием эндогенных факторов и обстоятельств. Этот подход, как мне кажется, жестко связан с неэтническим подходом Янова к русской истории. Это наблюдение может показаться парадоксальным. В самом деле, легко предположить, что подход к русской эволюционной ловушке как явлению сугубо местному сведется к его объяснению некоей местной культурной (даже психорасовой) парадигмой. Однако на деле это оказывается не так. Наоборот, как раз попытки объяснить русскую историю внешними влияниями странным образом всегда сводилась к тому, что русскому народу приписывалась культурная парадигма, которая порождала и объясняла его устойчивый авторитарный характер.

Это вряд ли было случайно. Попытки объяснить русскую историю заимствованной парадигмой упирались в очень важную проблему: предстояло выяснить механизм заимствования. Что именно и как именно заимствовалось, например, от Византии и Монголов? И здесь обнаруживается одна интересная вещь. Дело в том, что свидетельств о попытках заимствовать Западную культуру, включая целые институты (не говоря уже об элементах идеологии и ценностях), более чем достаточно. Тем не менее все критики России сходятся на том, что заимствование не удалось и Россия так и не стала "западной" страной. Вместе с тем сведений о конкретных заимствованиях с Востока гораздо меньше, если есть вообще. Следовало бы в этом случае усомниться: а было ли заимствование? Но обычно в этом не сомневаются сторонники "византийской" и "монгольской" концепций русской истории. У них не вызывает никакого недоумения тот факт, что очевидные и настойчивые попытки вестернизировать Россию в Новое время оказались (как они же сами и считают) безуспешными, а почти не зафиксированные летописью заимствования с Востока произошли с такой удивительной легкостью.

Логически этот парадокс может иметь лишь одно объяс-

нение, и все (открыто или молчаливо) к нему прибегают. Раз уж так произошло, то значит русский народ сам по себе больше соответствовал восточному образцу, чем западному. Он представлял собой, так сказать, благодатную почву для восточной деспотии. Так приходят к признанию пресловутой предрасположенности русских к деспотическому строю.

Конечно, причину феномена надо искать за пределами самого феномена. Отсюда тяга исторической науки к географическим или диффузионистским объяснениям. Действительно, трудно придумать что-либо иное, если пытаешься объяснить такой феномен как "русская культура" или "русская история". Но что если отказаться от рассмотрения такого сложного объекта в его предполагаемой целостности? Тем более, что "целостность" — вещь довольно таинственная, ее легче воспринимать и изображать символически, чем анализировать и объяснять.

Кроме того, есть основания полагать, что целостны только очень общие культурные парадигмы, свойственные цивилизациям, так сказать, гео-исторического масштаба. Целостность же их местных вариантов сомнительна. Вообще, чем ниже иерархический уровень суб-культуры, тем она менее целостна. Можно рассматривать Египет и Рим как целостные феномены. Можно так же рассматривать и христианский мир. Но разве Россия на протяжении 400 лет (примерно между плаванием Колумба и Второй мировой войной) представляет собой явление того же масштаба?

Многие националистические концепции русской истории грешат таким преувеличением масштаба исторического явления, известного под общим названием "Россия". В самых крайних дилетантски-мифологических представлениях Россия выглядит как явление того же масштаба, как Египет, Рим, Запад. По существу с той же меркой подходят к ней и многие критики русской истории. Разница лишь в оценке этого явления. Апологеты-националисты оценивают его как образец "положительной" парадигмы, критики — как образец "отрицательной".

Янов поступает иначе. Он не исходит из того, что Россия — это цивилизация со своей общекультурной парадигмой. Объект его внимания вообще не Россия, а всего лишь политическая структура, возникшая на территории России и просуществовавшая примерно 400 лет. А подобное частное явление следует попытаться объяснить частными причинами, прежде чем переходить к поискам общих. В историческом исследовании это означает рассматривать явление как событие и вывести его из других событий. Янов фактически переводит явление "Россия" из

почти метафизического ряда в ряд событийный. Редуцировав, однако, явление "Россия" до явления "русская политическая структура XVI-XX веков", он получает возможность объяснить его, с одной стороны, как явление местное, то есть обстоятельства (событиями) русской же истории, а с другой стороны, явлениями внешними по отношению к этому частному объекту.

IV. Прибегнув к этой методологии, Янов концентрирует внимание на политической истории России, и ищет в ней те события и обстоятельства, сочетание и чередование которых привели к возникновению автократии. Он находит их в сфере внешней политики, в сфере аграрных отношений и в сфере церковной истории. Это Ливонская война, экспроприация боярства как земельной аристократии и уничтожение внутрицерковной оппозиции в лице нестяжателей.

Все это произошло в рамках становления русского абсолютизма. Поэтому Янов прежде всего подробно обрисовывает русский абсолютизм, представленный Иваном III. Подобно абсолютизму в остальной Европе, русский абсолютизм столкнулся с проблемой создания служилого сословия. В ту эпоху в соответствии с ее земельно-ресурсным духом основой существования служилого сословия мыслилось только землевладение. Поэтому проблема ресурсного обеспечения (сейчас мы сказали бы "экономической основы") этого сословия могла быть решена только с помощью земельных пожалований, причем на юридической основе, отличной от средневеково-европейской, учитывающей задачи, которые предполагалось поставить перед новым сословием.

Чисто техническая сторона дела сводилась к тому, где взять землю. Как считает Янов, у русского царя в этот момент был выбор. Землю для этой цели можно было бы получить от церкви, можно было захватить ее на юге у Южной Орды и можно было отобрать ее у бояр. Иван III, по-видимому, долго колебался, но, как считает Янов, склонился к тому, чтобы оставить бояр в покое. Трудно сказать, что было бы, если бы царствование Ивана III длилось дольше.

Так или иначе, при Иване III вопрос еще не был решен и его решением пришлось заняться Ивану IV Грозному. Иван Грозный сделал выбор. Он предпочел союз Церкви, отказавшись поддержать нестяжательскую оппозицию и оставив Церкви ее земли. Он отказался от войны на юге, начал бороться с христианскими державами за Балтику и стал отнимать земли у бояр, чтобы наделить землей новое служилое сословие.

Почему Иван IV выбрал этот вариант? В принципе, стратегия Ивана Грозного может быть объяснена двумя способами.

Можно думать, что его толкнули к этому определенные убеждения. Допустим, что у Ивана была, так сказать, определенная социальная философия, некие развитые представления о том, что такое государство, власть, как и для чего власть должна быть ограничена, или почему она не должна быть ограничена вообще. Есть ряд свидетельств (некоторые из них как будто спорны), что такие представления у Ивана были. Можно думать, что Иван был сознательным апологетом неограниченной власти и теоретиком автократии. Происходило ли это от его особо интенсивного честолюбия, или было результатом интеллектуальной работы и искренних убеждений, для нас в данном случае не имеет значения. Главное, что в этом случае автократическая система была для Ивана целью.

В то же время в его письмах к Курбскому как будто можно увидеть, что Иван толковал автократию как средство. Допустим, что Иван Грозный не лицемерил, как это и считала всегда часть русской историографии. В этом случае созданная им автократическая система служит наглядным примером того, как средство постепенно вытесняет цель. Янов убедительно показывает, как затем уже возникает развитая философия, в которой фетишизируется, мистифицируется и метафизически обобщается в идеал общественного устройства политическая структура, созданная как бы "на минуточку" для совершенно определенной и будто бы благой цели.

Что же это за цель, ради которой приходится прибегать к столь опасному средству? Это идея сильного, крупного (обязательно крупного!) национального государства. Идея эта была в то время господствующей государственно-политической идеей в Европе и не было ничего удивительного, что перед самой могущественной династией Руси встала та же задача, что и перед остальными влиятельными династиями Европы. Как же случилось, что в Западной Европе, где философия неограниченной власти была не менее популярна, интенсивно обсуждалась и была, может быть, более тщательно разработана и где многие монархические режимы если и не достигли полного совершенства "Иванова царства", то были близки к этому, подмена цели средством так и не осуществилась, а, возможно, дело и не доходило до использования такого средства?

Оставим пока этот вопрос без ответа и вернемся к русской истории как таковой. Так или иначе, была создана новая политическая структура, и это сопровождалось исчезновением из политической жизни боярства, ограничивавшего власть монарха на законной основе. Таким образом, была уничтожена (и больше уже не восстановилась, как подчеркивает Янов) систе-

ма, которую впоследствии стали называть плюралистической. Этот поворот в русской социально-политической истории нам предложено объяснить деятельностью Ивана IV, который то ли сознательно хотел осуществить особый проект социально-политического устройства, то ли просто жаждал все большей и большей власти, то ли стихийно попадая из одного в другое узкое место в процессе политической борьбы, то ли в силу всего этого вместе, привел Россию к тому, к чему он ее привел.

V. Однако всем историкам известна печальная истина, заключающаяся в том, что всякое объяснение нуждается в свою очередь в объяснении. Возникновение авторитарной системы при Иване IV реконструировано Яновым, и тут же вновь возникают новые вопросы.

Во-первых, естественно спросить о происхождении той государственной философии, которую провел в жизнь Иван. Во-вторых, естественно спросить, почему политическая реконструкция (сознательная или нет) удалась Ивану. Янов приводит материалы, свидетельствующие о том, что в России были силы, препятствовавшие задуманной Иваном реформе. Что это были за силы, хорошо известно. Как же случилось, что он одержал над ними верх? Крайностями его террора объяснить эту роковую победу нельзя. Можно думать, что сами эти крайности, исключительная безнравственность и политическая распущенность Ивана, оказались возможны именно в виду слабости оппонентов.

Янов высказывает интересное соображение, что государственной философией Ивана была философия вотчинного владельца. Принципы службы и безоговорочной лояльности сеньеру в пределах русской *вотчины* Иван перенес на проектировавшееся им государство. Возникшая таким образом *отчина* (теперешняя отчина) была сконструирована по образу и подобию вотчины. Но у нее должна была быть иная, более сложная политическая система, так как государство, созданное из многих вотчин, крупнее, обширнее, сложнее. Управление этим новым образованием не могло осуществляться теми же методами, что и управление вотчиной. Говоря сугубо современным языком, Иван не продемонстрировал той *кибернетической* мудрости, которая предполагает развитые представления о функциях, иерархических уровнях организации и т.д.

Но у европейских монархов тоже никакой кибернетической мудрости, я думаю, не было и в помине. Вотчинный дух был свойствен и им, и они тоже исходили из структуры власти традиционного феода, потому что это был самый близкий и понятный им образец. Проектируя свою политическую структу-

ру, они тоже видели ее в виде вотчины (феода) — только очень большого.

И тут возникает вопрос: а не была ли структура власти в европейском феоде иной, нежели в русской вотчине? Что можно сказать о сходствах и различиях в правовой основе сеньориальной власти в Европе и в России? Не вдаваясь в обсуждение этого вопроса, я хочу только заметить, что зайдя по пути объяснений так далеко, мы опять оказываемся в опасной близости к тем концепциям, которые объясняют феномен русской автократической системы весьма общими и исторически глубоко лежащими причинами. А это значит, что трактовка Яновым русской автократической системы как явления по существу местного и событийного не может рассматриваться как альтернатива квази-метафизической трактовке этого явления как возникшего под куполом некоторой общей культурной парадигмы. Объяснения Янова выглядят достаточно логично, но не уничтожают другой логики. Мне кажется, однако, что заслуга Янова состоит в том, что он своей интерпретацией заставляет нас усомниться в обоснованности "византийской" и "монгольской" парадигмы русской истории и толкает на поиски какой-то иной. Какой именно — я теперь говорить не решаюсь.

Второй вопрос — это вопрос о слабости оппонентов Ивана. Когда нужно объяснить исход какой-либо борьбы, это можно сделать, указав на причину особой силы победившего или на причину особой слабости побежденного. Мне кажется, что в России именно силы, противостоящие Ивану, оказались слабы. Собственно, тот политический баланс, который установился в рамках западноевропейского абсолютизма, был результатом относительного баланса сил между сословиями. Этого баланса не было в России.

По-видимому, приходится признать, что этого баланса не было потому, что в России не было городского буржуазного (или, если угодно, протобуржуазного) сословия, подобного западноевропейскому. В начале книги Янов приводит ряд свидетельств, показывающих, что оно зарождалось в России точно так же, как и в западной части Европы. Но весь вопрос в том, как далеко зашло развитие и становление этого сословия, каков был его политический потенциал, уровень самосознания и в какой мере остальным участникам политической коллизии нужно было с ним считаться. Те несколько городов, которые перечисляет в своей книге Янов, выглядят как скромные полевые цветки по сравнению с такими букетами, как Фландрия, Ломбардия и Пьемонт, города Южной Германии, Ганза, английские порты... Но дело не только в этом. Количество переходит

в качество. В Западной Европе существовало развитое буржуазное мировоззрение, в рамках которого уже возникала современная наука и вариант христианской доктрины, позволивший осуществить церковную реформацию, оказавшуюся не просто церковным делом, а настоящей культурной революцией. Вряд ли внутрицерковная оппозиция в России в лице нестяжателей может быть сопоставлена с движениями протестантизма по глубине идейного содержания, всеобщности доктрины, обилию светских коннотаций и, так сказать, потенциалу секуляризации, который содержался в протестантизме. Но помимо этого важно и то, что нестяжательство не имело (допустим, что еще не имело) опоры в широких социальных слоях и было, по-видимому, все-таки всего лишь идейным течением в церкви.

Отсутствие этого важного фактора, на мой взгляд, и отличало русскую ситуацию накануне и в начале эпохи абсолютизма и определило существенные различия между абсолютизмом русским и абсолютизмом западноевропейским. Поэтому-то западноевропейский абсолютизм оказался "вынужденным терпеть латентные ограничения власти" (выражение Янова), а русский сумел их устранить. В книге Янова это обстоятельство не то чтобы обходится молчанием, но и не подчеркивается. И хотя отсутствие этого сюжета в книге меня не удовлетворяет, я не решаюсь особо упрекать Янова. Потому что вполне очевидно, что Янова интересуют не столько "конечные" причины возникновения в России устойчивой автократической власти, сколько ее дальнейшая судьба. На первый план поэтому Янов выдвигает типологические особенности русского абсолютизма.

VI. Янов провидит типологическое различие между абсолютизмом и российской структурой власти, которую он называет автократия. Русскую автократию он определяет как "псевдоевропейскую политическую форму, которая отличается как от восточного деспотизма, так и от европейского абсолютизма, ту политическую форму, которая словно бы эклектически совмещает параметры обеих кажущихся несовместимыми политических форм и вместе с тем демонстрирует миру такую устойчивость и силу". Янов получает этот тип следующим образом. Вначале он проводит типологическое различие европейского абсолютизма и восточного деспотизма. Здесь он вступает в полемику с преобладающей ныне традицией, отказавшейся от противопоставления этих двух форм как эмпирически установленных типов. Обычно историки и социологи, прекрасно понимают глубокие различия западных и восточных монархий, избегают использовать для обобщения этих различий пару понятий "абсолютизм-деспотизм". Для этого есть много оснований, и их

рассмотрение заняло бы много места. Отметим лишь, что современные исторические школы трактуют деспотизм лишь как тенденцию всякой структуры власти, в том числе и такой специфической, как европейский абсолютизм. Вот что пишет по этому поводу сам Янов: "Абсолютизм был жестокой, часто кровавой и тиранической авторитарной структурой, стремившейся, насколько это было для нее возможно, попирать не только политические, но и гражданские права своих подданных. Людовик XI несколько не был лучше шаха Аббаса, и Генрих VIII не был приятнее Сулеймана Великолепного. Любая авторитарная структура стремится отклониться в сторону деспотизма, как магнитная стрелка к северу..."

Янов порывает с этой традицией. Он присоединяется к другой традиции, не слишком популярной, но представленной такими громкими именами, как Аристотель, Монтескье (Янов относит к этой традиции и Гегеля, и Токвиля, хотя они, кажется, не присоединялись к ней открыто).

Перечислив принципиальные признаки абсолютизма и деспотизма как двух типов политических структур, Янов не считает возможным отнести политическую структуру, созданную Иваном Грозным, ни к тому, ни к другому. Он помещает ее, как третий тип, в один ряд с двумя другими и как бы между ними. "...Революция царя Ивана была попыткой превратить абсолютистскую политическую структуру в деспотизм, скопированный с византийских и татарско-турецких образцов. Попытка эта удалась и не удалась. Она не удалась в том смысле, что вследствие сопротивления абсолютистской традиции — деспотизмом русская структура не стала. Но она и удалась в том смысле, что абсолютистская структура была деформирована до неузнаваемости".

Мне кажется, что обнаружение существенных особенностей русской политической структуры, возникшей при Иване IV, говорит само за себя и не требует типологических нововведений, еще более сгущающих страсти вокруг проблемы, и без того сильно отягощенной побочными чисто политическими последствиями типологизирования. Тем не менее я могу понять, почему Янова так властно потянуло в сторону типологических обобщений. Дело в том, что он полемизирует с двумя распространенными концепциями русской истории, и обе эти концепции пронизаны сильным духом типологизации. Советская историография в общем и целом стремится замолчать особенности русского абсолютизма, всячески убеждая нас в том, что это был тот же самый абсолютизм, что и в остальной Европе. В конце концов, говорят советские историки, некоторые крайно-

сти русского абсолютизма можно объяснить причудливым и неприятным характером царя Ивана. Эта концепция имеет сильную политическую подоплеку и поверхностна. Она, конечно же, должна быть разоблачена.

Другая концепция, может быть, не так одиозна, но все же одиозна тоже, хотя скорее не в политическом, а в этнически-оценочном смысле. Эта концепция, относящая Россию к миру восточных деспотий, также пользуется влиянием на Западе. Мне кажется, что Янову удалось показать ее некорректность, хотя ему это было труднее сделать, чем многим западным полемистам, поскольку он признает деспотизм не как идеальный тип, а как реальную типологическую единицу.

Вступив в спор с двумя резко типологизирующими концепциями, Янов и оказался в плену типологизирующего подхода. Мне, как я уже сказал, эта методика в данном случае не кажется обязательной. Но даже более того, она приводит к некоторым издержкам. Мне кажется, что типологическое "разведение в стороны" западноевропейского и русского абсолютизма приводит к забвению одного очень важного обстоятельства в плане сравнительно-историческом. А именно того обстоятельства, что в западноевропейском обществе содержались, содержатся и даже, возможно, усиливаются элементы автократии, точно так же как в русской истории содержались и содержатся элементы сословно-представительной политической структуры. Западная историография (часть ее, по крайней мере) отрешивается от России с помощью гипнотизирующей силы типологического трюка, так же как Россия в лице советской (и части до-революционной историографии) отрешивается от самой себя.

Я еще раз подчеркиваю, что не обсуждаю здесь логическую корректность и эмпирическую обоснованность всех типологизирующих подходов (включая подход Янова). Это увело бы меня в сторону теорий типологии, сражающихся с такими сложными проблемами как, например, типология длительно существующих и становящихся или просто эволюционирующих структур, не говоря уже о других многочисленных сложностях типологизирования. Я только хочу обратить внимание на культурно-моральные последствия любого типологизирования в связи с феноменом русской истории. Русско-советская культура, втискивая себя в Западную Европу, пытается получить отпущение своих исторических грехов по худому принципу: им было можно, почему же нельзя было нам? Западная культура, отгораживаясь от России типологической стеной, пытается уговорить себя, что у нас, дескать, это невозможно. Еще как возможно. Этому есть масса исторических свидетельств и об

этом же говорят чуткие исторические прогнозы Хаксли, Оруэлла и др.

В любом случае и по самой сути типологизирование есть сильное упрощение. Обыденное сознание прибегает к нему по-минутно* и для обывателя слова "другой тип культуры", например, значат гораздо больше и совсем иное, чем для утонченно типологизирующего антрополога или историка. Часто они звучат как приговор. Если читать книгу Янова внимательно, то в ней можно найти немало тонких оговорок относительно той типологии, которую он предлагает. Но разумно ли так решительно типологизировать на глазах у толпы — вот в чем вопрос.

VII. Следующая особенность книги Янова неоднократно подчеркивается им самим. Это — диахронические сопоставления. Последние десятилетия этот метод мало популярен у историков, даже в исторической социологии, которая, разочаровавшись до некоторой степени в структурно-функциональном подходе, стала более осторожно относиться к рассмотрению структур, вырванных из реальной хронологии. Однако диахронический метод Янова, мне кажется, вполне оправдан, поскольку с одной стороны, опирается на обильные свидетельства повторений в русской политической истории, а, с другой стороны, стремится привлечь специальное внимание к этой повторяемости.

Постоянство одной и той же коллизии: распад и реставрация авторитарной политической системы в самом деле примечательная и, вероятно, как и настаивает Янов, самая важная черта русской политической истории. Но подход Янова отличается тем, что он, как мы уже отмечали в другой связи, не считает это следствием культурной парадигмы (этнической), будто бы предшествовавшей логически и исторически этой системе. Напротив, он думает, что в русской традиции содержится иное начало, постоянно угрожающее авторитаризму. Более того, вплоть до 1917 г. оно усиливалось, что привело в конце концов к возникновению конституции и различных конституционных движений, которые были абсолютно легальны и добились, как казалось тогда, немалых успехов**. Янов полагает, что анти-

* В частности, наклеивая ярлык "русифобство" на любую критику русской культуры.

** Правда, Макс Вебер считал русский конституционализм псевдоконституционализмом. В наше время русская общественная критика (здесь, в эмиграции, и устная — дома), кажется, склонна считать, что развитие России в конце XIX-начале XX века наконец-то вывело Россию на путь либерализма и конституционализма. Таким образом, думают одни, тяжелая специфика русской историей была изжита. Таким образом,

автократическое начало (я не решаюсь дать ему более определенное имя) существует в СССР и сейчас и, несмотря на крайне неблагоприятные условия (может быть, самые неблагоприятные со времен Ивана Грозного) рано или поздно сыграет свою роль в социальной эволюции советского общества. Политический пафос книги Янова — присоединение к этому началу.

Но каковы же шансы этого начала? Диахронический подход Янова не дает нам возможности уклониться от постановки этого вопроса, хотя обсуждать возможное будущее — всегда немножко авантюра, потому что нет ничего более темного для нас, чем наше будущее, разве что наше прошлое...

Я не хочу предсказывать будущее, но в связи с трактовкой Яновым русской политической истории представляется необходимым все же высказать некоторые методологические замечания. Что дает нам право судить о будущем автократической политической структуры в СССР? Как минимум, понимание того, почему она сохранилась до сих пор, если уж мы готовы условиться, что она сохранилась. Возможно несколько объяснений. Первое — культурно-этническое — всем духом и построением своей книги отвергает Янов. Для этого объяснения нет логических, фактических и, что, по-моему, самое важное,

(продолж. сноски со стр. 177)

думают *другие*, существовавшая до того система показала свою способность претерпеть мутацию, когда этого потребовали обстоятельства. И те и другие, однако, сходятся на том, что все стало хорошо и было бы хорошо как на Западе (молчаливо предполагается, что на Западе в это время все было хорошо), если бы не подоспел импортированный коммунизм и не испортил все дело.

Концепция Янова укладывается в эту логику лишь отчасти. Вероятно, Янов тоже оценил бы политический процесс "серебряного века" как положительный. Конечно, он не стал бы его трактовать как исторический успех авторитарной системы, сумевшей, назло ее критикам, осуществить прогресс и показать тем самым свою замечательную универсальность. Янов, в свойственном ему более рационалистическом и чисто политическом духе, толковал бы это как успех антиавторитарного начала в русском обществе. Но последующее крушение зарождавшейся новой политической структуры он объяснил бы уже иначе. А именно с помощью своего представления об абсолютной нерушимости, или, скажем, исключительной прочности авторитарной структуры. И марксизму, и большевикам нашлось бы место в объяснении происшедшей реставрации, но главной ее причиной была бы названа типологическая способность "авторитаризма" к самосохранению.

В связи со всем этим интересно взглянуть, что думал по поводу развития в России современник событий и, может быть, самый проницательный человек нашего времени Макс Вебер. Вебер считал режим, установившийся после революции 1905 г. в России, псевдоконституцион-

нет моральных оснований. Второе объяснение, и к нему как будто прибегает Янов, заключается в том, что особая авторитарная структура не способна к саморазвитию, неспособна даже разрушить саму себя. Возможны ли такие структуры в бытии общества — проблема очень обще-философская, и мне даже не ясно сейчас, может ли она быть решена в пределах науки в соответствии с нашим нынешним пониманием науки. Но как эмпирическое обобщение русской политической истории может быть принята по меньшей мере гипотеза об особой инертности структуры того вида, который она получила в описании Янова. Это довольно сильное объяснение. Однако если его принять полностью и всерьез, то прогноз может быть только один: России предстоит пережить следующий цикл, после чего она окажется в том же прискорбном положении, что и во времена опричнины, или во времена коллективизации. Хладнокровно рассуждая, остается только одна надежда на внешние факторы развития. Естественно, я не хотел бы рассматривать все сложные и трудно контролируемые интеллектуальные (и далеко не научные!) последствия этого вывода. Легко сказать — рассуждать хладнокровно. К сожалению, наш интерес к судь-

(продолж. сноски со стр. 177)

ным. Рискую упростить взгляды Вебера, попытаемся в двух словах изложить основные его соображения.

На событийном уровне, считал Вебер, подлинно либеральные силы потерпели поражение и были устранены из дальнейшего развития. Реальным носителем либерализма в русском обществе Вебер считал Земство. Он называл Земство "идеологическим джентри", то есть так же как он называл английское сословие, спасшее, по его словам, Англию от бюрократизации, которая стала уделом остальной Европы. В 1905 г. наступил, как полагал Вебер, момент, когда "... час идеологического джентри минул. Игра материальных интересов вновь вошла в свои нормальные права. При этом из политического процесса были выключены политически мыслящий идеализм (слева) и умеренное славянофильство, стремившееся к расширению земского самоуправления (справа)" (Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 22, 1907, S. 342).

Но почему же игра материальных интересов не привела в России к ликвидации "полицейского абсолютизма" (термин Вебера)? Потому что, пишет Вебер, в России "отсутствовали те стадии развития, на которых в Западной Европе существенные экономические интересы имущих слоев служили интересам буржуазного движения за свободу" (Archiv, Bd. 23, 1907, s. 398).

Таким образом, лозунг "естественного права" повис в России в воздухе, так как ни один из имущих слоев здесь уже не был заинтересован в его осуществлении. По-видимому, и сама буржуазия, особенно крупная. Вопрос о свободе решался на уровне чисто идеологического

бе России выходит далеко за рамки академического и, возможно, мы не имеем права втискивать себя в эти рамки.

Но возможно и третье объяснение, а именно то, к которому прибег Янов, рассматривая живой процесс возникновения авторитарной структуры в России. Я имею в виду событийное объяснение. Ведь можно предположить, что реставрации авторитарной структуры каждый раз способствовали какие-то очередные обстоятельства. Законно в этом случае спросить: не слишком ли часто повторялось роковое стечение неблагоприятных обстоятельств?

На этот вопрос можно ответить, что нет, вовсе не слишком. Во-первых, не совсем ясно, сколько было в России реставрационных циклов. Янов насчитывает их 7. Я предпочел бы думать, что их было всего 3. Иван IV, Петр I, Ленин. Четыре других, которые выделяет Янов, не представляются мне таксономически равноценными. Однако все это достаточно неясно, и если идея цикличности, которую тщательно разработал Янов, получит распространение, появятся специальные работы, проливающие свет на масштабы и значение каждого цикла русской истории — именно как цикла.

Итак, я рискую думать, что циклов было всего три и исхожу сейчас из этого предположения (наряду с предположени-

(продолж. сноски со стр. 177)

проекта общества. В этих условиях политические тенденции государственной бюрократии резко возростали, и фактически она и вышла победителем.

В таком случае может показаться странным, что она допустила создание псевдоконституционализма. Казалось бы, зачем ей был нужен этот политический жест? По этому поводу Вебер замечает, что бюрократия рассчитывала, "что псевдоконституционализм в сочетании с как-то экономически ориентированной политикой консолидации (*Sammlungs-politik*) окажется гораздо более удобным инструментом для утверждения собственного господства, чем неповоротливое так называемое "самодержавие" (*Archiv. Bd. 22, 1907, s. 352*).

Суть веберовского скептицизма связана, таким образом, с его общей глубоко пессимистической оценкой перспектив "свободы" по мере созревания капитализма. В России поздно спохватились. Когда там начали бороться за установление правового и парламентарного общества, эта достославная система уже встала на путь выхолощивания своей сути если и не буквального отрицания. Как видим, то, что Янов называет последним "русским циклом", Вебер объяснил бы в совершенно ином духе. Да и нынешние перспективы борьбы за свободу в России он, вероятно, увидел бы в совершенно ином свете.

По логике Вебера "циклическая реставрация" 17-го года, собственно, была не циклической реставрацией, а исторически совершенно новым явлением. В России восторжествовала тенденция к тоталитаризму,

ем о существовании самих циклов). Теперь — об обстоятельствах. При ближайшем (правда, обобщающем) рассмотрении мы обнаруживаем всего одно обстоятельство, а именно "ориентация русской элиты на Западную Европу" и стремление во что бы то ни стало поспеть за ней в том, что впоследствии было названо — прогрессом.

Такой подход предполагает, что Россия, будучи христианской и европейской страной, действительно шла тем же путем, что и остальная Европа, но что еще более важно, разделяла фундаментальные ценности европейской культуры. Этими ценностями были (в хронологическом порядке): государственная интеграция, территориальная экспансия за пределы этнической территории и экономически-технологическая экспансия.

Если бы Россия принадлежала к другому культурному кругу и ничего не ведала о так называемом прогрессе, ее, возможно, на рубеже XIX-XX веков постигла бы участь, скажем, Африки. Однако Россия была Европой, в ней шли те же реальные и интеллектуальные процессы, но они на всех этапах Новой истории шли медленнее, и этот факт осознавался в русском обществе со временем все острее и острее. Попытки искусственно стимулировать движение общества по западноевропейскому, очень понятному и близкому по духу образцу и привели, как

(продолж. сноски со стр. 177)

свойственная позднекапиталистическому обществу. Эпоха либерализма, так украсившая (в наших глазах) историю Западной Европы и Северной Америки, просто "выпала" из русской истории. Когда ее попытались "провернуть" чисто идеологические группы, было уже поздно. Русское "идеологическое джентри" поспело к шапошному разбору. Современные "сторонники либерализма в СССР", пытающиеся возродить традицию этого "идеологического джентри", так же показались бы Веберу, вероятно, анахронизмом.

Итак, Вебер помещает вопрос о русской политической структуре в совершенно иной контекст, нежели Янов. Тем не менее между их подходами есть определенные точки соприкосновения. В частности там, где оба автора говорят о роли бюрократии в политическом процессе. Почему Россия первой из европейских наций вступила в новое царство несвободы? Не потому ли, что ее государственная бюрократия оказалась лучше подготовленной к новой эпохе — технически и морально? И еще: пусть, как считает Вебер, бюрократия в 1905 г. победила потому, что игра материальных сил оказалась в ее пользу. Победу, однако, она одержала над чисто идеологической силой, а поэтому эта победа была идеологической, а не только материальной по своему содержанию. И это заставляет нас вспомнить о той роли, которую отводит Янов русской историографической традиции в проектно-идеологической борьбе между бюрократией и другими сословиями, имевшими свой проект общественного устройства.

мне кажется, к раннему возникновению института, а вместе с ним и сословия, которые пытались выполнить своего рода проектные задачи: имитировать образец. Во всяком случае Петр I и Ленин (боюсь что-либо сказать о Грозном) декларировали это открыто. Они хотели "как лучше", понимая это "лучше" абсолютно на европейский манер.

Во всем этом, по-видимому, нет ничего особенно нового. В общем и целом, это знакомая нам концепция России как периферии Европы со всеми вытекающими из этого последствиями. Следует только добавить, что Россия, разумеется, была не простой периферией, как, например, Балканские страны. Россия несомненно была вторым конкурирующим центром христианской цивилизации*, но этот центр оказался слабее. Причины относительной слабости русского центра, кажется, лежат на поверхности. У России не было такого ресурса как Римское наследие. Христианство проникло в Россию на 1000 лет позднее, чем в Западную Европу. Массивность европейской культуры к XVI веку по сравнению с русской культурой к тому же времени производит огромное впечатление. Она прямо-таки осязаема. И на этот раз первое и поверхностное впечатление нас не обманывает: да, это было так. Если не считать Россию европейской страной, то бессмысленно было бы сравнивать количественно массу западноевропейской культуры с массой русской культуры. Но я думаю, что Россия была плоть от европейской плоти и дух от европейского духа; поэтому с началом так называемого европейского прогресса она из конкурирующего центра превратилась в периферию и оказалась лицом к лицу с задачами, которые она сама себе (точнее ее правящая элита) поставила и решение которых оказалось чревато такими неконтролируемыми последствиями. Многие считают всю эту историю трагичной. Но мне кажется, что западноевропейская история, хотя и в несколько ином роде, но трагична тоже. История вообще трагична.

* Если считать, что в Западной Европе был только один такой центр, хотя бы и менявший свое географическое местоположение. Вообще противопоставление России Западной Европе как единому целому само по себе достаточно условно.

Г. Нилов

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУБНОВОГО ТУЗА

В 1904 г. В.И. Ленин в беседе с Н.В. Валентиновым следующими словами обрисовал этику партийного отношения к инакомыслию: "Говоря о каком-то критике марксизма, не помню уже о ком, Плеханов однажды мне сказал: "Сначала наклеим на него бубновый туз, а потом разберемся". А я считаю, что на всех, кто хочет колебать марксизм, нужно лепить бубновый туз, даже не разбираясь. Такой должна быть реакция здорового революционера" (1).

После 1981 г., т.е. без малого через восемь десятилетий со дня упомянутой беседы, опубликованный в 28-м номере журнала "Континент" "Восточноевропейский диалог" позволяет и это высказывание Ленина считать "бессмертным", ибо показывает, что принцип "бубнового туза" сегодня еще не утратил своей привлекательности, но теперь уже воспринят как здоровая реакция на всякое инакомыслие и противниками коммунизма.

Поскольку со времени диалога – статьи Михайло Михайлова "Возвращение Великого Инквизитора (о политических выступлениях Александра Солженицына)" и ответной статьи Михаила Геллера "Время бросать камни?" миновало три года, *мое столь запоздалое вмешательство в дискуссию будет ограничено рассмотрением только ее формы*. Такое ограничение объясняется тем, что, во-первых, этот диалог далеко не первая полемика по существу общественно-политических воззрений А.И. Солженицына; во-вторых, за минувшее время статьи М. Михайлова и М. Геллера наши, надо полагать, отклик в эмигрантской печати, прошедший мимо меня; и, наконец, в-третьих, мое отношение к большинству проблем, затронутых диалогом, достаточно полно изложено в статье "Из-под глыб – в небеса" (журнал "Время и мы" № 35). Само же опоздание с вмешательством в дискуссию объясняется тем, что в последние годы, впрочем, как и во все предыдущие, подписка на ТАМиздат для жителей СССР несколько затруднена излишними, по-моему, формальностями по статье 70 или 190 УК РСФСР.

Еще раз пообещав избегать по возможности обсуждения существа проблемы диалога, приступим к рассмотрению его формы.

Следуя лаконичному правилу Плеханова – сначала лепить бубно-

вого туза, а разбираться потом, — редакция "Континента" предваряет статью М. Михайлова кратким предисловием, которое привожу полностью:

"ОТ РЕДАКЦИИ: Мы не согласны ни с одним существенным положением этой статьи, но, по установленному у нас правилу, каждый член редколлегии имеет право напечатать один принципиальный для него материал под свою ответственность. Следуя этому правилу, мы и публикуем ниже статью Михайло Михайлова.

Редакция обратилась к доктору исторических наук Михаилу Геллеру с просьбой высказать свое мнение по поводу этой статьи, которое, кстати сказать, мы целиком и полностью разделяем".

Попробуем разобраться в том, что означает такое предисловие и почему оно может быть названо "бубновым тузом", налепленным на грудь статьи М. Михайлова.

Прежде всего потому, что приведенные одиннадцать журнальных строк — предисловие, а не послесловие. Второе — было бы значительно интеллигентнее и означало бы, что редакция сумела за годы эмиграции освободиться от назойливой обязанности советской печати руководить читателем, не отдавать его анархии самостоятельных раздумий, организовывать его мнение еще до чтения публикации (правда, часто вместо чтения). Такое предисловие — признак неуважения к любому возможному читателю "Континента", а по отношению к читателям ТАМиздата, жителям СССР, главным, надо полагать, адресатам журнала, оно просто неприлично. Ведь каждый экземпляр "Континента" здесь — раритет, читается не десятками людей — десятками семей, передает его друг другу на один-два дня, а читают чаще всего по ночам — днем надо работать, а послезавтра отдавать журнал. В таких антиусловиях кто-то доверчивый не прочитает "Возвращение Великого Инквизитора", раз статья помещена в журнале только потому, что автор ловко воспользовался своим положением в редакции и юридической заковыкой в "установленных правилах" публикации. Это короткое и однозначное, как дорожный указатель, предисловие может преградить коварному инакомыслию путь к такому читателю, и он останется верным "генеральной линии" Восточноевропейского диалога. Цена такой верности — без размышлений и сомнений — всем, конечно, давно известна.

К счастью, стандарты советской печати привели к образованию у читателей устойчивого защитного рефлекса: "Если ругают, надо прочитать". А, казалось, пора бы понимать, что столь прямолинейное газетное клише сегодня уже бесцельно.

Забавно, что в полном соответствии с законами "социалистического реализма" это предисловие, клишированное по канонам советской печати, не сумело обойтись без советских же словесных штампов: "под свою ответственность", "целиком и полностью разделяем".

Понятная и не пустая угроза в устах подцензурной партийной печати — "под свою ответственность", произнесенная "Континентом" в Париже, абсолютно бессмысленна. Под чью же еще ответственность автор пишет и публикует свои произведения в условиях свободы слова? Перед кем редакция отвечает за крамольные высказывания своих авторов? Перед Комитетом по печати? Министерством культуры? Так ведь нет в Париже этих "инстанций"! А инстанционный менталитет, как видно, все

еще есть! "Тяжелое наследие прошлого", вздыхают в таких случаях советские газеты.

Второй словесный штамп – "целиком и полностью разделяем", выражающий поразительное единодушие всего состава редакции в отречении от высказанного М. Михайловым и в безоговорочном согласии с мнением М. Геллера, – является и вторым признаком бубнового туза. Не ясно, правда, кого объединяет местоимение "мы" – всех сотрудников редакции или только ее руководителей, всех членов редколлегии или только некоторых из них? Но поскольку никто из редколлегии "Континента" не воспользовался своим правом выразить принципиальное несогласие с предисловием, а значение местоимения никак не разъясняется, приходится полагать, что "мы" объединяет всех сотрудников журнала.

По недостатку ли воображения или по свойственной многим в Союзе идиосинкразии к абсолютному единогласию, я могу еще представить себе группу людей, несогласных "ни с одним существенным положением" какой-то работы, но никак не могу вообразить, как несколько человек могут "целиком и полностью разделять" чьи-то мнения. До сих пор я полагал, что абсолютное единомыслие – привилегия тоталитаризма. Если же я неправ, и такое единомыслие возможно в условиях свободы, то возникает вопрос – каким образом в данном случае оно достигнуто? Неужели голосованием по каждому "существенному положению" статьи Михайлова и мнению Геллера? Или общим списком, как принято у нас на собраниях? Судя по результатам голосования, оно осуществлялось по принципам "демократического централизма", когда мнение большинства становится обязательным для всех его участников. Надо полагать, однако, что редакция обошлась без голосования. Ведь сказано же Солженицыным:

"... по исконным русским представлениям истина не может быть найдена голосованием, большинство не обязательно лучше видит ее (а по особенностям массовой психологии, скажем – часто и хуже). И когда для важных решений собирались представители земли ("Земские сборы"), на них не было голосований: истина искалась путем долгих взаимных убеждений – и определялась конечным общим согласием" (2).

Стало быть, предисловие к статье Михайлова создавалось путем долгих взаимных убеждений, и конечное общее согласие было достигнуто?

Даже если редакция – это лишь те, чьи фамилии перечислены на обложке журнала, не могу вообразить, что уважаемый писатель Виктор Некрасов "целиком и полностью разделяет" все мнения Геллера. Не может настоящий писатель целиком разделять чьи-то мнения по общественно-политическим проблемам современности. Он должен иметь свои собственные суждения.

Так как же все-таки было достигнуто общее согласие? Вот уж не сложный вопрос для читателей ТАМиздата! Начальство сказал: "Мы целиком и полностью разделяем..." Остальные промолчали.

Третий яркий мазок в рисунке бубнового туза – само типографское оформление статей. Дело в том, что статья Михайлова набрана мелким шрифтом, а предисловие к ней и ответная статья Геллера – крупным. Стоит ли говорить, что интеллигентные люди не должны прибегать к столь явному силовому приему? Возможно, конечно, что портфель ре-

дакции переполнен интереснейшими материалами, и она не может все статьи набирать крупным шрифтом. Но достойнее было бы статью, "ни с одним существенным положением" которой редакция не согласна, набирать крупно, а "целиком и полностью" разделяемые мнения, — мелко.

И, наконец, последний штрих в узоре бубнового туза — как бы вскользь упомянутая ученая степень М. Геллера, означающая, что статью "Возвращение Великого Инквизитора" написал дилетант Михайло Михайлов, а возражает ему профессионал — "доктор исторических наук" Михаил Геллер. Оставим на совести единомышленников и этот силовой прием.

Этим научно-историческим мазком и завершается картина редакционного предисловия, выполненная, как видим, в четкой манере начала нашего века.

Прежде чем перейти к рассмотрению того, как Геллер, следуя правилу Плеханова, "разобрался" с Михайловым, несколько хвалебных слов в адрес основоположника русского марксизма. Надо признать теперь, что Г. В. Плеханов был не только видным теоретиком, но и обладал весьма практичной сметливостью: посмотрите, насколько быстрее и легче бубновый туз можно налепить, чем разглядеть его сущность и постараться отлепить.

Как настоящий ученый, Михаил Геллер начинает разбирательство с экскурса в историю:

"В добрые времена, когда психиатрические больницы служили для лечения больных, рассказывали такую историю: всем здоров человек, но была у него мания. Он постоянно делал рогатки, подбирал камни и стрелял куда ни попадя. Его посадили в сумасшедший дом (так это тогда называлось), а после лечения представили комиссии. Для проверки комиссия спросила: что вы будете делать, если останетесь наедине с женщиной? Вылеченный пациент стал отвечать правильно: обниму, поцелую, начну раздевать. Довольные врачи кивали головами... Но бывший больной закончил свой ответ: сниму трусики, вытащу резинку, сделаю рогатку и буду стрелять".

Избавляя неподготовленного читателя от произвольного толкования исторического прошлого, Геллер немедленно определяет его неразрывную связь с настоящим:

"Старая эта шутка стала мне вспоминаться в последнее время при чтении многочисленных статей, интервью, эссе, заканчивающихся как в анекдоте: автор вынимает резинку, делает рогатку — и стреляет в Солженицына. Стреляют русские эмигрантские публицисты, стреляют западные публицисты, советологи и кремлеведы. Прежде всего американские".

Столь игривое начало, и приведенные строки открывают статью Геллера, заставляя подозревать, что ее автор — приверженец ленинского, а не плехановского отношения к инакомыслию. И никакого "разбирательства" не будет. А будет все то же налепливание бубнового туза. Теперь уже на спину статьи Михайлова.

Из всего здесь сказанного понятно, что основная идея статьи М. Геллера "Время бросать камни?" — недопустимость выступлений против А. И. Солженицына, и само название работы реализует ее основную мысль. Сначала могло показаться, что это название лишь случайно напоминает известное библейское изречение, но автор, завершая работу, не оставляет сомнений:

”Сказано: есть время собирать камни, и время разбрасывать камни. Где разбрасывать, в кого разбрасывать, в кого швырять камни? Екклезиаст ответа не дает. А бросать камни охота немоготу. И бросают в ”главного врага” Александра Солженицына”.

При таком пафосе защиты Солженицына не лишне было бы часть красноречия посвятить решению логично возникающего у читателя вопроса: почему столь многим и столь ”немоготу охота” бросать камни именно в Александра Солженицына? В отличие от пациента сумасшедшего дома, который стрелял куда ни попадя. Объяснения Геллера по этому вопросу, к сожалению, много короче рассказанного им анекдота:

”Камнешвыряние русских авторов можно объяснить, обратившись к Фрейду, утверждавшему, что сыновья обязательно хотят убивать отцов. Вспоминается еще как объяснение что-то там у дедушки Крылова и так далее. В США американская левая интеллигенция переживает очередной медовый месяц увлечения марксизмом, и камень в Солженицына входит там в ритуал посвящения”.

Принимая как исчерпывающее объяснение по Фрейду для русских авторов и отдавая должное стилистическому великолепию выражения ”что-то там у дедушки Крылова и так далее”, как не удивиться объяснению для западных камнешвырятелей – неужели и вправду американские советологи и кремлеведы ”переживают очередной медовый месяц увлечения марксизмом”?

И еще вопрос: зачем же звать к Екклезиасту, перефразируя и искажая при этом смысл его изречения? Ведь очевидно же, что смысловое различие между глаголами разбрасывать и бросать намного превосходит их фонетическое различие, когда ”бросать” означает, как у Геллера, забрасывать, избивать. И плавный переход от несколько странного для русского языка словосочетания – ”в кого разбрасывать” к вопросу, не имеющему никакого отношения к Екклезиасту, – ”в кого швырять камни?”, означает, что смысловая передержка совершена вполне сознательно.

А стоило ли ради этой передержки обращаться к Библии? Неужели во всей советской литературе не нашлось подходящей цитаты? Ведь столь вольное обращение с текстом Святого Писания может покоробить чувства верующих. Поскольку на обложке ”Континента” обозначена его религиозная направленность, надо думать, что единогласное решение редакции ”целиком и полностью” разделять мнения Михаила Геллера было несколько опрометчивым. ”Под свою ответственность” – было бы все-таки надежнее!

Эту передержку можно было бы отнести к разряду стилистических промахов и не задерживаться на ее анализе, если бы ответ Геллера на заданный им же вопрос: ”Время бросать камни?” не содержал такой же плавной, но значительно более пространной и тем самым завуалированной смысловой передержки, суть которой – отождествление негативной критики *произведений и взглядов А.И. Солженицына* с осуждением, очернением, обвинением... *самого А.И. Солженицына*. Вот как это делается:

”Михайло Михайлову, увы, не удалось избежать некоторой монотонности: ”опасны идеологическо-политические призывы Солженицына”; ”опасность взглядов Солженицына”; ”опасность последних политических выступлений Солженицына”; Солженицын ”зовет на ложную и опас-

ную дорогу”; “нет более опасной дороги” и так далее и так далее. Но стилистическое однообразие возмещается простотой мысли: *Александр Солженицын опасен!* Более того, *Александр Солженицын – главная опасность!*” (подчеркнуто мною – Г.Н.).

Пусть монотонно, но Михайло Михайлов говорит об опасности взглядов и выступлений Солженицына, а не об опасности самого Солженицына! Совершив плавную подмену этих понятий, Геллер негодует:

“Опасность для него – это не Брежнев в Кремле. Это – Александр Солженицын, гарцующий на белом жеребце перед Боровицкими воротами. Вот-вот отворят ему, въедет он – и тогда-то наплачемся...” (подчеркнуто мною – Г.Н.).

Не стоит продолжать цитирование этого рода, поскольку лаконично сформулированная сущность передержки уже приводилась: “А бросать камни охота неважно”. И бросают в “главного врага” Александра Солженицына.

Вряд ли следует тратить время на определение разницы между критикой воззрений писателя и нападками на него самого – разницы, которую не хочет замечать Геллер, приписывая Михайлову именно нападку на Солженицына. Однако позволю себе привести здесь несколько примеров, иллюстрирующих разницу между опасностью высказываний, выступлений, произведений... и опасностью их автора.

Н. Бердяев о Чернышевском:

“Необходимо отметить нравственный характер Чернышевского. Такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии будут пользоваться менее достойные люди. По личным нравственным качествам это был не только один из лучших русских людей, но и человек близкий к святости. Да, этот материалист и утилитарист, этот идеолог русского нигилизма был почти святой. Он ничего не хотел для себя, он весь был жертва. В это время слишком многие православные христиане благополучно устраивали свои земные дела и дела небесные” (3).

Уместно сейчас напомнить, что человек близкий к святости призывает к топору.

А вот пример обратного соотношения – высоконравственное выступление очень опасного человека:

“Оно (правительство) убеждено, что сегодня может существовать лишь одна задача – обеспечение мира во всем мире!” (4). Это сказал Адольф Гитлер, выступая в рейхстаге в 1933 г.

И, наконец, пример, имеющий к данной теме непосредственное отношение, иллюстрирует в чистом виде камень, брошенный в А.И. Солженицына. В конце семидесятых годов одна американская газета поместила статью, выражающую недоумение по поводу того, что Солженицын, призывая ко всемирной вооруженности Запада против коммунизма, не ограничивает себя доходами среднего американца ради этой вооруженности, а строит роскошную виллу, разбивает вокруг нее обширный парк и т.д.

Можно говорить о том, насколько несправедливо брошен этот камень и праведной или неправедной рукой пущен он, но назвать эту статью критикой взглядов Солженицына никак нельзя!

Так неужели эта совсем не тонкая разница между критикой воззрений и нападками на личность автора не видна Михаилу Геллеру? Вид-

на, конечно. Только в данном случае Геллер не "разбирается" с критиком "солженищизма", а лепит на него бубновый туз и потому сознательно смешивает и смещает смысл этих понятий. Дело в том, что основное назначение бубнового туза — бросаться в глаза, а незамысловатый рисунок его требует мазков ярких и простых. Отсюда и нарочито грубоватая образность: забрасывание камнями, а не критика воззрений; Солженищын, гарцующий на белом жеребце... Кстати, почему именно на жеребце? До сих пор в этой шаблонной сцене всегда участвовал просто конь. Впрочем, профессиональному историку виднее.

Завершая разговор о критике и нападках, должен сказать, что лишь одно место статьи Михайлова с очень большой натяжкой может быть названо "камнем", брошенным в Солженищина, там, где Михайлов говорит об утрате художественного чутья Солженищыным-публицистом.

Чтобы закончить рассмотрение всей картины бубнового туза, написанной Михаилом Геллером, придется немного нарушить обещание не затрагивать существа проблем Восточноевропейского диалога и вмешаться в полемику вокруг раздела статьи Михайло Михайлова, названного им "Смещение национального и религиозного", где говорится, что такое смещение характерно для статей А.И.Солженищина. Резюмируя содержание раздела, Михайлов пишет:

"Невозможно не испытывать восхищения при взгляде на тот вклад в дело борьбы за свободу, который уже десятилетиями дает католическая церковь в Польше. Однако для всякого знающего новейшую историю вполне законно сомневаться в том, что монополия католической церкви в Польше была бы намного лучше, чем нынешняя монополия коммунистической партии. Как это ни прискорбно, но самый полный, законченный тоталитаризм возможно построить только на авторитарно-теократической, церковной основе... В наше время религиозно-церковная монополия была бы в сотню раз хуже атеистической. Испанская католическая инквизиция с нынешней техникой — это было бы почище Советского Союза".

Геллер, возражая Михайлову, приводит ту же цитату, опуская, разумеется, первое предложение. И заключает:

"Идеолог "планетаризма" остается верен себе: возможность кажется ему страшнее того, что есть, снимающая ему угроза "монополии католической церкви", не воображимой сегодня нигде на свете, представляется более страшной опасностью, чем реальная "монополия коммунистической партии".

Немного далее Геллер подчеркивает эту мысль:

"Нет сегодня на земном шаре страны, которой бы грозила "испанская католическая инквизиция" ".

И опять возражения Геллера содержат смысловую передержку! Михайлов говорит об опасности тоталитаризма на "авторитарно-теократической церковной основе", приводя польский католицизм и "испанскую католическую инквизицию" исключительно как примеры; Геллер же строит свои возражения на разоблачении мнимой опасности именно и только "католической церкви".

Понимая, зачем Геллеру понадобилось сузить понятия, которыми оперирует Михайлов, спешу сообщить доктору исторических наук, что в

то время, когда публиковалась его статья, на земном шаре уже два года была страна, охваченная тотальным террором на "авторитарно-теократической церковной основе" – Иран.

Вот далеко не полный список характерных начинаний тоталитаризма на исламской церковной основе, предшествовавших выходу в свет 28-го номера "Континента":

– Революционный трибунал приговаривает к смертной казни ряд высокопоставленных лиц шахского режима; бывший шах Ирана заочно приговаривается к смертной казни.

– Захватывается посольство США, дипломатов берут заложниками.

– Издается закон, запрещающий организацию и проведение несанкционированных правительством митингов и демонстраций.

– Принимается конституция, провозглашающая аятоллу Хомейни – Руководителем Ислама, направляющим и контролирующим деятельность законодательных, исполнительных и судебных органов страны.

– Проводится широкая "чистка" армии и государственных учреждений: в течение всего 1980 г. раскрываются заговоры против Хомейни, сопровождаемые массовыми арестами.

– Издается декрет о проведении "культурной революции", из высших учебных заведений страны "вычищено" несколько тысяч преподавателей.

– Центральный Исламский Революционный Комитет издает декрет, по которому лица, создающие или распространяющие произведения, противоречащие идеалам исламской революции, подлежат аресту и суду исламских трибуналов.

Эти ординарные подвиги теократического тоталитаризма, конечно же, были известны М.Геллеру, но он предпочел поймать Михайлова на слове – "испанская католическая инквизиция, монополия католической церкви".

Отвечая Михайлову по поводу "смещения национального и религиозного", Геллер пишет:

"Были бы мои размышления над статьей Михалова еще одним пустым разговором с глухим, если бы не "польское лето" 1980 г. ... Гданьские рабочие, а за ними весь польский народ, не читавшие Михайло Михайлова, не знакомые с необратимо грядущим планетаризмом, вдохновленные национализмом и верой, нанесли тяжелый удар тоталитаризму".

Трудно пока решить, насколько тяжел для коммунистического тоталитаризма был удар "польского лета", вряд ли намного тяжелее "пражской весны". Зато с уверенностью можно утверждать, что тем же летом 1980 г. "*вдохновленные национализмом и верой*" стражи ислама с энтузиазмом возводили здание теократического тоталитаризма. И возвели! И современную технику употребили для "дела веры" – еретиков вешают на стрелах автокранов, выставляемых на городских площадях! Видимо, из кирпичей национализма и веры разные здания можно возводить. Кстате, ирландские и ливанские террористы, также "не читавшие Михайло Михайлова", тоже не "планетаризмом" вдохновляются, а национализмом и верой!

Какой неоригинальной конструкции складывается строение из кирпичей персидского национализма, сцементированных исламом, не

разглядеть теперь можно, только не желая этого. А вот каким было бы здание из польского национализма на католической вере, мы бы знали, если б удар был потяжелее! А пока, говоря об этом, должны прибегать к сослагательным наклонениям. Что и делает Михайло Михайлов в отличие от Михаила Геллера, упрекающего Михайлова в категоричности.

Этим, надо полагать, исчерпывается мера дозволенного мне вмешательства в полемику Восточноевропейского диалога.

И мои рассуждения о статье Геллера были бы, наверно, "еще одним пустым разговором с глухим", если бы год спустя после работы над картиной бубнового туза он сам не сформулировал вывод, логически вытекающий из ее рассмотрения: "Эмигранты воспроизводят окружающую среду, покинутую ими" (5).

Надеюсь, что мои рассуждения о форме Восточноевропейского диалога позволяют теперь выделить наиболее устойчивые черты "покинутой среды":

– ностальгия по единомыслию и единодушию, когда "целиком и полностью – в единой и неделимой – все как один...";

– неодолимое стремление первым в "едином строю" поставить Лидера – непогрешимого, недостижимого, неприкасаемого... словом, Вождя,

– активное неприятие плюрализма, следовательно, завидная уверенность в формуле разрешения современных восточноевропейских проблем: авторитарность – национальное возрождение – вера. Возможна, правда, и обратная зависимость: безоговорочное принятие формулы Лидера, а следовательно, враждебность к инакомыслию.

Закрывая список фатально воспроизводимых духовных недугов материнской среды, должен признаться Михаилу Геллеру, что опасность для меня – это не Солженицын, перед Боровицкими воротами гарцующий на белом коне, пусть даже на жеребце, – это не Михайлов, проповедующий планетаризм; *опасность – это единомышленники, неразборчивые в средствах достижения своих целей!* Генсек в Кремле – тоже в среде единомышленников.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Н. Валентинов "Встречи с Лениным", стр. 253. Chalidze Publication New York, 1981 г.
2. А. Солженицын "Публицистика (статьи и речи)", стр. 339. Статья для журнала "Форин Аффферс" – "Чем грозит Америке плохое понимание России". УМСА-Press, Париж, 1981 г.
3. Н. Бердяев "Русская идея", стр. 108. УМСА-Press, Париж, 1974 г.
4. Д. Мельников, Л. Чарная "Преступник номер 1", стр. 249, АПН, Москва, 1981 г.
5. М. Геллер, А. Некрич "Утопия у власти" (История Советского Союза с 1917 г. до наших дней), стр. 473. Overseas Publication Interchange Ltd., Лондон, 1982 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>Славомир Мрожек. Страшный суд.</i>	3
<i>Ю. Домбровский. Докладная записка.</i>	11
<i>А. Н. Кленов. Видь и внемли.</i>	54
<i>Борис Гройс. Немного о плюрализме.</i>	89
<i>Зиновий Зиник. Дева и монстр.</i>	96

ИЗБРАННОЕ

<i>Борис Хазанов. ET RESURREXIT.</i>	100
<i>Эдуард Лимонов. Двойник.</i>	105

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

<i>Леонид Ицелев. Шампанское на четверых.</i>	116
<i>Михаил Рейман. Документы кануна сталинщины.</i>	132
<i>А. Донде. Критика и реабилитация русской истории</i>	163

ОТКЛИКИ ИЗ РОССИИ

<i>Г. Нилов. Возвращение бубнового туза.</i>	183
--------------------------------------------------------	-----

ЧТО ТАКОЕ ЭМИГРАЦИЯ?

Приглашение к разговору — стр. 53, 95, 115, 131, 162



Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.



Цена номера 55 фр. фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 200 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.

